Заметки Н. Лескова (Сборник). Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке http://leskovnikolai.ru/ Приятного чтения!

Заметки Н. Лескова (Сборник). Николай Семенович Лесков

Заметки неизвестного

Женское стремление к пониманию причиняет напрасные беспокойства

Жандармская полковница, еще не старых лет, но очень набожная, любила пространно исповедаться и столь была заботлива о своей душе, что всегда в каждый из четырех постов в году говела и каялась на духу отцу Иоанну, о котором писано, как он подвергся слабости и пострадал от случая с разбудившим его канареечным пением. Этот добрый священник все мог переносить, но от полковницы бывал столь утомлен, что, головою крутя, говорил:

– Ну уж бог с ней – такая она паче ума и естества многословная.

Когда же отец Иоанн отошел в лучшую жизнь, полковница целый год была в нерешении: кого из духовенства почесть избранием себе в отцы, и для того у многих испытывала по разу говеть и так дошла до отца Павла, о котором тоже преподано в истории с асессорским сыном. – Отец Павел всегда был нетерпелив, но в пост от картофельной пищи и свеклы с огурцами часто был еще хуже и тогда исповедовал с раздражением и колко, а та любила все говорить мелко и по институтской привычке все часто восклицала: «ах». Что ее ни вопросить или о чем сама рассказывать захочет, все с того своего любимого слева начинает: «ах». Например: «Ах, я ужасная грешница», или «ах, как я несчастна», и тому подобное – что весьма надокучало.

Отец же Павел, видя, что она к нему подошла и поклонилась, прежде всего спросил: зачем она себе одного духовника не изберет и всех переменяет? А она отвечает:

– Ах, я такая несчастная… у меня ужасные нервы, и я не могу привыкнуть…

Отец Павел говорит:

– Это и понятно, если постоянно переменять будете, то никогда не привыкнете.

А она опять:

– Ах, я не могу!

– Почему?

– Ах, это так трудно.

– Трудно потому, что вы все ахаете, а вы не ахайте, а сделайте просто без «аха».

– Ах, не могу, я очень чувствительна. Ах!

– Ну вот опять «ах»!

– Ах, – да я не могу.

– Попробуйте.

– Ах, я уже один раз попробовала и мне было так… ах, ах!

Отец Павел и перебил.

– Один раз, – говорит, – ничего. Один раз ахнуть можно, но постоянно это повторять не для чего.

Полковница гневно его покинула и, явясь ко владыке, принесла на отца Павла жалобу с плачем за ее оскорбление.

Владыка против слез сам подал ей воды, а в чем со стороны отца Павла сделана обида, «того, – говорит, – я не понимаю».

А полковница говорит:

– Ах, боже мой, но я понимаю.

– Так вы скажите.

– Ах, я не могу об этом говорить.

– То как же быть?

– Ах, мне пришла мысль.

– Если ваша мысль хорошая – то исполните ее, а если дурная – оставьте.

– Ах, совсем не дурная! Я вам напишу на листке, что́ я из слов его заключаю, а вы в другой комнате прочитайте.

И получив на то дозволение, написала свое понимание по-французски, а он возвратил ей листок с надписью: «Не понимаю».

Когда все это стало публике известно, то все тоже не понимали, чего не понял владыка: французского ли диалекта или того, что на нем выражено. И из-за этого много произошло, о чем полковница обижалась мужу, но для отца Павла это прошло без больших последствий.

Заметки неизвестного

В последнюю мою побывку в Москве знакомый букинист от Сухаревой башни доставил мне на просмотр несколько старых рукописей, в числе коих находилась и та, которую я нынче представляю вниманию читателей. Она была в старинном корешке, с оклеенными синею бумагою полями и не имела ни подписи, ни заглавия, также лишена была многих страниц с начала и в конце. Но, однако, и то, что в ней уцелело, на мой взгляд представляет немалый интерес как безыскусственное изображение событий, интересовавших в свое время какой-то, по-видимому весьма достопочтенный, оригинальный и серьезно настроенный общественный кружок.

Засим я предлагаю в подлиннике заметки неизвестного летописца в том порядке и под теми же самыми частными заглавиями, под какими они записаны в полууничтоженной рукописи.

Излишняя материнская нежность

Асессорша, вдова, оставшись с малолетним сыном Игнатием при хороших средствах, все внимание на воспитание его обратила, сохраняя его от простуды и болезней, а также и от всяких бесед и слов несовместных, от которых ум детский растлевается и узнает о пороках. С той целию к ней в дом никто, ни один мужчина, кроме разносчика и булочника, не входил, да еще вхож был каждое первое число месяца для молебна и назидания духовник ее, отец Павел. Этот был роста высокого, острого понимания и в разговорах нередко шутлив. Он в обстоятельства сей своей почитательницы вникал и, оставаясь у нее после молебнов на чае и закуске, скромность и бережливость асессорши постоянно похвалил, но не одобрял, что она так Игнашу взаперти, при себе и одних домашних прислужницах, держит, до того, что он ничего мужескому полу сродного в характере не имел, а стал подобен как бы девчонке, или, лучше сказать, – ни к тем, ни к сем не относится.

А Игнаше тогда шел уже шестнадцатый год, и он еще нигде не учился.

Асессорша же, во всем отца Павла признавая, на этот счет его полезных советов не слушала и против его разных доказательств приводила примеры из своей прошлой жизни. Наичаще она вспоминала, что, состоя в браке с асессором, многое от него перенесла, ибо он имел такое обыкновение, что если с каким-либо просителем запирует, то несколько дней домой не возвращался, а удалялся по разным местам, пел и играл и под органную музыку разные танцевальные па представлял.

Это танцевание асессорше столько в жизни огорчения сделало, и было понятно, что она опасалась, как бы и сын ее по стопам родителя своего не последовал.

Отец же Павел, имея здравое суждение, говорил: «Сударыня, никакого плода дальше его лет не убережешь, а если убережешь, то выкинешь». И указывал ей, что может быть такой слепой случай, когда вдруг юноше нечто необычайное в жизни откроется, и тогда он хуже не узнает, как себя повести, и еще более пострадать может. Но

недоумевшая асессорша стояла на своем и отцу Павлу не верила, и так благополучно сберегла Игнашу до двадцати лет и приучала его к хозяйству, водя его с собою всегда по саду и по амбарам, дабы минуты один не оставался. А между тем случай, которого она не допускала, подкрался в самой неожиданности и очень скоро обнаружился.

У асессорши был брат, отставной бригадир и предводитель, с которым она редко видалась потому, что он жил за двести верст в своем имении слишком на кавалерскую ногу и приезда родственниц не хотел видеть, а присылал им дважды в год праздничные подарки холста и материй, по выбору проживавших у него посторонних вольнодомок. Но, как всему на свете бывает конец, то и бригадиру на семьдесят третьем году его жизни пришел черед умирать, и он в преддверии смерти вспомнил о сестре асессорше и прислал к ней нарочного сказать, что он умирает и желает с нею и с племянником проститься.

Случай же, о возможности которого асессорше не раз намекал отец Павел, был настороже и устроил так, что перед этим самым временем она, перевешивая полотки на жердях сверху амбара, оступилась и упала с лестницы и столь сильно повихнула себе ногу, что лежала в постели и не могла двинуться, а потому ехать к умирающему брату не могла ни под каким видом. Между же тем она была домовита и вещелюбива и знала, что у брата, кроме недвижимого имения, коему уповала быть в своей доле наследницею, были еще многие драгоценности – часы и табакерки с портретами, камнями осыпанные и дареные ему за его храбрость из Кабинета. И асессорша опасалась, что он те вещи мог по своей слабости раздарить кому-либо из окружающих его женских угодниц его свободной жизни, которые к нему приласкались, или же они, в случае если брат умрет до ее приезда, то сами по алчности своей могут все это расхитить и после сказать: «Ничего не было», или: «Он нам подарил».

В таком размышлении она провела всю ночь без сна, с стесненным сердцем, и к утру решилась послать к умирающему без себя Игнашу, с проживавшею у нее верною вдовою капральшею, чтобы он ехал и жил у дяди до самой его кончины и как можно прилежней к нему ласкался.

Утром же велела скоро готовить бричку, а Игнаше с капральшею сбираться и вместе с тем послала просить отца Павла, чтобы прямо от обедни пожаловал отслужить «в путь шествующему» молебен и благословить Игнатия на дорогу.

Отец Павел прибыл на приглашение асессорши и молебен в ее комнате отпел, так что и она в постели могла молиться; а когда затем здесь же на столе подали для отъезжающего на завтрак телячью печенку в сметане и пирожки, то отец Павел, кушая с Игнатием, делал ему по материной просьбе внушение, как ему себя весть у дяди.

– Не будь, – говорил, – как дитя: на всякий шаг материного научения не ожидай, ибо ее с тобою не будет, а сам своим умом для себя полезное руководствуй: дядю ласкай, и руку ему целуй, и одеяло поправляй, и лекарство по часам лей и в ложке подноси; а вещей хороших и драгоценных смотри повсюду, где они есть, и их хвали и одобряй, чтобы он понимал, как они тебе нравятся. И про которую тебе вещь скажет: «Это тебе», – ты сейчас ему руку целуй, а вещь к себе уноси и запирай от слуг и вольнодомок. А мало спустя, как он опять в памяти покажется, ты прославляй его заслуги и храбрость, за которые он драгоценности получал в дар, и опять те вещи на вид ставь и хвали, пока скажет: «Бери себе и это». И так ласковым обхождением до самой его кончины обходись. А когда один останешься, то на других говори, чтобы он другим не доверял. Если же один быть не можешь, то встань, будто подушки поправить, и прошепчи. Так можешь все получить, даже и с остатком на мою долю, если совет мой оценить пожелаешь.

И, преподав ему нравоучение, Игнашу благословил, и тот с капральшею поехал; но капральшу, выехав за градскую заставу, из брички ссадил и прислал назад, а сам понадеялся на себя и один поехал. После же кончины дяди он возвратился назад совсем благополучен и с довольными дарами в вещах и в части имения, но на две причины жаловался: первая, что покойный дядя его до нежной к себе ласковости ни разу не допускал и лекарства из его рук не пил, а вторая – мать заметила, что он теперь слабо спит, в постели мечется и во сне губами смокчет. И второй этой причины он матери не открывал, отчего это ему сделалось.

Асессорша, с которою сын прежде был во всем откровенный, не раз даже со слезами

просила его открыть: отчего ему стал такой беспокойный сон и смоктанье; но он что-то невнятно бормотал и ничего не открывал. Матери вздумалось, что не пристало ли это к нему что от покойника, или не сталось ли со страха, что смертный случай видел, или от досады, что грубый человек не мог, умирая, ласки его оценить, – и тогда, по всегдашней вере своей в отца Павла, асессорша и в этом случае призвала его к молебну и потом за закускою открыла, что «вот-де с Игнашею так и так, после езды его в одиночестве к дяде большая перемена: день невесел и задумчив, а ночью с вечера долго не спит, и в постели вертится, и губами смокчет»…

– Знаю, – говорила асессорша, – что ныне даже и духовные волшебствам уже стали не верить. Однако же волшебница самого Самуила из гроба вызвала и Саулу тень пророка показывала, да и в книгах церковных недаром есть молитвы от злого очарования и на отогнания, а потому, так или так, – говорит, – вас прошу и даже уже своими руками вам из своего марселинового платья новый подрясник сюрпризом сшила, но возьмите вы Игнашу в свои руки и выведайте от него всю истину и помогите.

Отец Павел сказал: «Хорошо!» и, приняв в одну руку завернутый в бумагу марселиновый подрясник, другою рукою взял за руку барчука Игнашу и пошел с ним в сад, как бы для осмотра нынешнего года урожая вишен. И тут, остановясь под одним сильно рясным деревом, стал указывать, как много воробьи ягод портят, и от этого вдруг со вздохом перешел к иной порче – как нравы повреждаются.

– Налетит сверху, не знать откуда, словно птаха, и клюет доброе насаждение. Так, может быть, что-нибудь и с тобою сделано?

Игнаша растрогался и от неожиданности только вопроса смутился.

– Точно, – говорит, – отец Павел, было со мною плохое дело, и… может быть… и теперь что-нибудь осталось, и я за грех мой страдаю.

А отец Павел покачал головою и говорит:

– Сделаем-ка вот что: нарви-ка ты мне поскорее хороший лопушный лист вишен, которые позрелее, и особенно воробьиных оклевушков – они всего слаще, и подай.

Тот мигом все исполнил, нарвал лучших вишен и оклевухов и подал их отцу Павлу на большом лопушном листе, как на дорогом блюде. Отец же Павел в траву под яблонею сел и рясу распахнул, а лопух с ягодами в колени поместил и говорит:

– Ну вот, друг мой Игнатий Иваныч, хорошо, а теперь, как мы здесь только двое – ты да я, – и больше никого нет, а над нами бог всемогущий, от него же несть ничто неявленно или утаенно, то будем же мы с тобою как в раю откровенно разговаривать, и ты открой мне как на духу: что такое с тобою встретилось и о чем ты столь сокрушаешься, что даже и мать твою сокрушаешь: ибо она видит, как ты во дни невесел, а ночами беспокойно спишь и губами смокчешь. Я буду в траве сидеть и твоего срывания вишни есть, а ты мне свои тайности обнаруживай, и тебе легче станет.

Игнаша отвечает:

– Я и сам, батюшка, этого очень желаю, но только не хочу, чтобы маменька об этом узнала.

– Она никогда и не узнает. Я тебе в том мое слово даю, а иерейскому слову сам закон без присяги верит. Я уже тебе вперед сказал, что речь твою я принимаю как исповедь, а что на исповеди сказано, то нам открывать никому не дозволено, кроме политического начальства.

– Ну, если так, что маменька знать не будет, то я вам грех свой открою.

– Открывай.

– Ездил я к дяденьке, чтобы к нему перед смертью его приласкаться и получить вещей и наследство…

– Ну, что же такое? Это долг родственности твой был, и в том нет никакого греха.

– Да-с… Вещей я не много получил, а наследства сто душ с усадьбою…

– Ну! Что же ты останавливаешься? Получил сто душ с усадьбою – и это не худо. И тут я никакого греха не вижу; если бы мне дали, то я и сам бы получить такое наследство готов был.

– Вам нельзя, – говорит Игнаша, – духовные крестьян у себя в крепости держать не могут, а только одни дворяне.

– Ну, это ничего не значит: я бы крестьян в шесть месяцев какому-нибудь дворянину за дешевую цену на переселение в безлюдные степи продал, а в усадьбе сам жить стал. Во всем этом греха нет: но вот я уже скоро все вишни поем, а ты мне еще одни, давно мне известные пустяки говоришь, а про грех утаиваешь.

Тогда Игнатий, видя, что надо уже сделать окончание речи, сказал, что видел он у дяди большое стеснение от привитавших у него дам, которые были у него чужие из постоянных гостей, но бригадир их к себе приближал более, чем своих родственников, и из их рук лекарства принимал и их одних к себе сидеть близко у постели заставлял, а его отдалял и даже шутил над ним. При тех же дамах были и другие их родственницы, молодые и старые, и к одной приехала из Москвы молодая акушерница, или бабка-галандка, нрава веселого и смешливая, круглолицая, с бровью и с косым пробором на голове – совершенно как будто красивый мальчик. Эта молодая бабка-галандка при больном скучать не любила, а все отбегала в сад и Игнашу с собою туда звала и там заставляла его себя на качелях качать и горячий уголек ей на трубке для закуривания раздувать. – Когда же бригадир умер и Игнаша домой поехал, то на второй станции ему не дали лошадей потому, что большой разгон был, и он должен был на той станции заночевать. И едва он заснул в первый сон, как послышался шум, и в ту комнату, где он спал и кроме которой другой не было, вошла та же самая бабка-галандка, которая тоже домой ехала и за недачею ей лошадей тоже здесь до утра должна была остановиться. Тогда она, сняв с себя мантон и верхнее платье, легла спать на другом диване, в одном белом лифе, и закурила трубку. Игнатий же от нее оборотился к стене и усильно сдремал во второй сон очень недолго и опять к ней тихо оборотился, чтобы видеть – спит ли. Но она не спала и, глядев на него, рассмеялась и поцелуй ему губами сделала. Он же тогда скорее опять заворотился к стене и усильно искал, чтобы скорее заснуть в третий сон, но не мог этого сделать, ибо слышал, как она, посмеиваясь, губами вроде поцелуев чмокала до самого утра. А когда утром он проснулся, чтобы ехать дальше, то ее уже не было, а он этак же, как она, губами чмокал и доселе с той привычкой остался.

Прослушав такой сказ, отец Павел спросил: не было ли ему все это во сне? Но Игнатий выражал свое твердое уверение, что все то с ним было наяву. Тогда отец Павел, докушав последние вишни, стряхнул с лопуха приставшие к нему некоторые выплюнутые косточки, а лопух положил Игнатию на голову и, прихлопнув по нем ладонью, сказал:

– Молодчина ты – похваляю! И в этот раз ты вышел чист и безгрешен. А теперь держи ты этот лист покрепче на голове и походи с ним, погуляй по аллейке, пока из тебя выйдут последние помышления, а я вернусь к твоей матери и тайны твоей ей не открою, а успокою ее и скажу, как ей тебя от сего избавить, чтобы ты по-прежнему спал крепко и в первый сон, как во второй и в третий.

И, пустив Игнашу ходить под лопухом по аллее, отец Павел пришел к асессорше и говорит:

– Ничтоже вам и сыну вашему, которого вы при себе воспитали. Я его совесть испытал и никакой вины в нем не нашел.

Асессорша перекрестилась и хотела любопытствовать, но отец Павел ей всего открывать не стал.

– Я, – говорит, – это Игнатию обещал, да и по службе не могу, потому что открытое нам по тайности навсегда ото всех в тайне должно и оставаться, разве как перед одним политическим начальством. Но помочь я вам для успокоения ваших материнских чувств могу и полезный совет вам дам.

Асессорша говорит:

– Сделайте, батюшка, милость. Я вам к Покрову богородицы гарусный пояс цветами вышью.

– Хорошо, – говорит, – только вы слушайте и все точно исполните.

– Слушаю, батюшка, слушаю и непременно исполню.

– Встаньте вы сами рано утром на заре, когда еще роса на травах не высохла…

– Встану, – говорит, – отец Павел, даже до зари встану.

– Да; и возьмите вы с собою новый серп, такой, которым еще никто не жал.

– Есть у меня в кладовой два серпа новые.

– И выйдите вы с ним одна в сад, и оглядите такую яблоньку, которая кудрявее и чтобы на ней были плоды румяные.

– Есть у меня такая, есть.

– И нажните вы своими материнскими чистыми руками вокруг нее травы, и высушите из нее на солнце пуд сена.

– Все так сделаю.

– И пусть он этот пуд сена съест.

– Кто это?

– Разумеется, он, сын ваш Игнатий.

Асессорша изумилась.

– Как же это так: разве, – говорит, – он у меня конь?

А отец Павел отвечал:

– Конь-то он у тебя действительно не конь, но осел преизрядный.

Искусный ответчик
Секретарь, укоряемый во многом притяжании, имел слабость к устроению новых дач и домов и за продолжительное время своей службы обзавелся ими в таком числе, что от его недругов на это было сделано указание новоприбывшему начальнику. Начальник отвечал:

– Хорошо, я его испытаю, и если он меня не убедит, откуда ему все это мимо службы взялося, то тогда поступлю с ним, как надобно.

Самому же доносчику, да и всем при особе своей состоящим и приседящим строго наказал, чтобы ничего тому секретарю даже в самых отдаленных намеках подано не было, о чем ему готовился острый вопрос. И когда секретарь, ничего не знав о преднамеренном, в обычное время предстал докладывать просьбы и доклад свой кончил, вопрошен был:

– Правда ли, что вы посулы от просителей вымогаете и даже вымогательством к приношению вам денег нудите, а без того дел не рассматриваете?

Но секретарь, оком не моргнув, отвечал, что все это чистая клевета, и страшною клятвою именем божиим поклялся.

– Хорошо, – возразил начальник, – но, во-первых, вам такие клятвы говорить непристойно, а во-вторых, я только тогда словам твоим поверю, когда вы мне объясните: откуда вам взялось на вашем месте пять домов и шесть дач?

Секретарь же, слыша сие, отвечал, что все те домы и дачи и вся яже в них не ему, но жене его принадлежит.

– Но жена ваша всего этого в приданое вам не принесла, ибо известно мне, что она дочь людей бедных.

– Точно так, – отвечал секретарь.

– В таком разе, откуда же у нее взялись такие имущества?

– Не знаю, – отвечал секретарь.

– Как так – не знаете?

Секретарь изобразил собою большую сконфузливость и, пожав плечами, опять отвечал:

– Как вам угодно, а я этого и сам себе объяснить не могу.

– Ну, то могли же бы вы ее о том прямо спрашивать!

– И даже много раз спрашивал.

– И что же она вам на то отвечала?

– Ничего не отвечала.

– Как так ничего?!

– Так: я ее спрошу: «откуда ты, душко мое, деньги берешь?» А она только покраснеет, но ничего не скажет.

Начальник посмотрел на сего оборотливого секретаря и добавил:

– Однако ты, вижу, искусный ответчик.

После того секретарь остался на месте, и никто не мог доказать, что он не имеет источника.

Как нехорошо осуждать слабости

Отец Иоанн, хороший священник, любимый прихожанами и опытный благочинный, с молодости своей себя соблюдал в отменной трезвости и жил в самом примерном поведении; но имея уже близу шестидесяти семи лет, лишился жены и подпал другим несчастиям, из которых каждого в раздельности довольно было, чтобы весьма мужественную душу поколебать. Зять его повредился в уме, и дочь возвратилась под отчие кровы с немалою семьею, а сын предался дурным страстям и пошел в актеры. А еще всего более отцу Иоанну принес огорчения и ущерба тягостный лаж, который был объявлен от казны на серебро, через что в состоянии отца Ивана вдруг вышло понижение, так как он содержал все свое у себя в наличных бумажках. И тогда ото всего этого отец Иван стал искать забвения своего горя в вине, которого прежде во всю жизнь свою не пил. Поначалу это новоначатие крылось только в стенах дома, но потом, как беспрестанно беречь несчастного старика было некому, то и посторонним слабость его начала делаться заметною, и, наконец, был в храме неудобный случай, что он, сделав возглас, заснул и не скоро пробудился. Прихожане, весьма его любя, хотели это покрыть, но тщанием отца Иродиона, который себе благочиннического места желал, стало ведомо владыке. Владыка же был строг и не похотел оставить сего втуне, а, призвав отца Ивана к себе, сказал, что для пользы его души, при его преклонных уже летах, от благочиннических обязанностей его освобождает и советует ему читать «Часы благоговения», а для пользы службы на место его назначил отца Иродиона.

Удар этот на отца Ивана самолюбие столь повлиял жестоко, что он, вместо того чтобы читать «Часы благоговения», еще больше стал неосторожен, а когда дочь ему в доме вина возбраняла, то стал заходить с заднего выхода в трактиры, и особенно часто приходил к одному из своих прихожан, трактирщику и с давних пор почтительному его духовному сыну. Этот трактирщик подавал ему своего домашнего приготовления графин на горькой трефоли, и отец Иван ее потреблял со вкусом, и говорил: «Эта горечь для меня отраду приносит, ибо она горечь жизни моей прообразует». Духовный же сын трактирщик священника оберегал от взоров публики и предлагал ему все не в трактирных, а в своих жилых комнатах, не в виде трактирного угощения, а как домашнее хлебосольство. И когда отец Иван был

неисправен, он тут же у него на диване отдыхал, покрыв лицо платочком, а семейные из той комнаты даже канареек выносили, чтобы они своим трескучим пением его скоро не пробуждали. Так отдохнув, священник уходил без явного в его состоянии примечания. Но однажды, когда трактирщик и домашние его были по некоторому случаю в развлечении и канареек не вынесли, отец Иван ранее потребного времени пробудился и вышел колеблясь. Но, почитая себя еще сильным чтобы дойти до дому, пошел далее, а когда пошел, то силы его ему изменили и старые ноги его по скользкой осенней грязи стали идти неверно, и он поскользнулся и упал за углом улицы и встать уже был не в состоянии.

По случаю же вышло так, что новый благочинный, отец Иродион, в это самое время с старым причетником Ильком из дома своих прихожан, совершив крещение младенца, возвращались и, увидя отца Ивана в его несчастном положении, злобно улыбнувшись, сказал:

– Какое недостойное зрелище! Смотри на это и будь готов отвечать, что ты видишь.

А причетник Илько, будучи доброго сердца и отцу Ивану по училищу еще товарищ, отвечал:

– Виноват, отец благочинный! я не знаю, что вы видите.

– Я вижу бесчинного срамника отвергшегося благодати своего сана.

– А я вижу горестного несчастливца и благодати в нем отвергать не дерзаю, ибо она неотъемлема, – отвечал Илько, и с сими словами поднял отца Ивана, поставил его к стене и сказал: – Благослови, отче!

Отец же Иван раскрыл глаза и благословил его, а потом, ослабев, лег паки; но Илько пошел к нему в дом и, позвав человека из домашних, отнесли его и прибрали.

Вскоре за сим отец Иван умер, благословив всех, а также и отца Иродиона, отвергавшего его от благодати, и добрые прихожане над могилою его долго служили панихиды, а Иродиона не любили.

Надлежит не осуждать проступков, не зная руководивших им соображений Иеродиакон немолодых лет, но могутной плоти, первейший бас и в служении искусный, имел страсть к биллиардной игре и однажды в день пятничий на страстной неделе, отслуживши и почитая себя от обязанностей свободным, рассудил за безопасное удовлетворить свое влечение к биллиардной игре. Для того он пришел в заведение, где названному влечению своему мог угодить, и уже позвал трактирного служителя, но служители, как один, так и другой, от игры отказались, сказав, что в такой день не могут. Но в эту пору пришел тут квартальный, и они с квартальным стали играть не на подлаз под биллиард, а на деньги. Квартальный же, верный полицейскому нраву, брать любил, а платить не изволил.

Так и тут пришлось: обнаружил он свою полицейскую низкость и платить не хотел, а стал уверять, что уговор был на «подлаз», а не на деньги, и что он сейчас тот уговор готов исполнить – шпагу снять и под биллиардом лазить. Но дьякон этого не хотел и говорил: «Что мне за удовольствие?.. Деньги лучше».

Тогда квартальный потребовал, чтобы в таком разе продолжать игру до его отыграния и за всякою партиею выпивать мазу по большой рюмке рому или вина. Диакон, желая свой выигрыш получить, на то согласился, и как он лучше квартального играл, то опять все-таки выиграл, и то, что надлежало ему выпивать, пил честно. Когда же он от выпитых им рюмок мазу охмелел, то, будучи в своем праве, стал круче с квартальным поступать и требовать от него уплаты девяти рублей проигранных денег. При этом завели спор, во время которого неизвестно кто и каким образом весьма старое биллиардное сукно кием подпорол и испортил.

Тогда к спору их присоединился трактирщик, и его трактирные слуги, не смея рук своих на квартального тронуть, весьма смело подняли оные на иеродиакона. Они с наглостью стали уверять, что это, конечно, по их рассуждению, от игры в такой великопостный день, и что вред тот доподлинно сделал не квартальный, а диакон, и он за то сейчас сорок рублей заплатить должен, или если таких денег с ним нет, то они пошлют дать знать монастырскому начальству. А когда иеродиакон сообразил, что это есть подвох и что сукно, давно обновления требующее, вероятно, вспороно некоторым из служителей, от игры за страстным днем отказавшихся, то платить не

захотел и, несколько излишне на могутность свою полагаяся, стал их плещами пожимать и сталкивать и сам к двери выхода подвигаться; но тогда все вдруг с азартом на него кинулись, и, после буйственного на него нападения, один, наибольшею военною хитростью одаренный, вскочил на биллиард и с высоты биллиарда набросил на фигуру диакона с головой пестрядинное покрывало, так что он очутился как подсвинок, которого мужик заключил в мешок и, завязав, везет на базар, и тот только может визжать, но ничего не видит. Так и его, покрыв, приступили бить со всеусердным ожесточением во все части и, нащупывая, где его глава, за власы его притягали, и платье на нем порвали, и, руки под пестрядину подсунув, часы с бисерною цепочкою и деньги с кошельком до девятнадцати рублей совсем с карманом из вшивного отверстия изъяли. Словом, так его отдушили и обидели, как оного евангельского, шедшего по пути и впавшего в разбойники. И все это душегубительство они произвели так, что оный несчастный, быв повергнут и придавлен, с покровенной головою, ничего сам не мог видеть: кто именно в какое место бил и что с него совлек, и одно что для своей защиты мог, то сквозь пестрядину зубами кусался. Но бессердечным обидчикам этого страстотерпца и всего того, что сделали, еще мало показалось, а они или, лучше сказать, квартальный (ибо его это была погибельная мысль) такой захотел дать оборот, чтобы еще битый у небитых сам отпущенья просил и умолял о покрытии его их ненадежною тайностию, и из этого места откупился.

Так, когда штатские всем совершенным ими над диаконом удовольнились и помышляли уже приступити к метанию между собою жребий о похищенном, квартальный был несыт причиненным и сказал: «Еще не прииде тому час, а призовите мне моих охраняющих солдат, пусть свяжут ему руки и поведут сего буяна, чтобы все видели, и довлеет ему, а там, в монастыре, его сдать на руки, и там ему его священнодиаконство помянется и аксиос ему пропет будет за то, что в такой постный день на бильярде играл и вино пил».

Услыхав же это, диакон стал ротитися и клятися, что он у себя в келье в клобуке имеет еще сто рублей секретно заделаны, и все их отдаст, только чтобы по улице его яко связня не вели, а с свободою рук отпустили. И штатские хотели его с одним человеком отпустить, которому бы диакон, придя домой, деньги за двери вынес, но квартальный, исполнясь недоверия к пострадавшему духовному, сказал: «Нет, он как уйдет в обитель, то денег уже не вынесет и нас обманет, а лучше держите его, и представим приставу, чтобы и тот от сего случая не скуден остался». И, шед вон скоро, привел сюда с собою частного. Частный же, рассмотрев дело и видя диакона присмиренного и весьма потыканного и одертого, понял и погрозил квартальному перстом, а солдатов и штатских выслал, а диакону сказал:

– Восстав, идем отсюду, – и был ему за истинного самарянина: всадил его вовнутрь своих крытых дрожек и повез на своем скоте, а дорогою полезный совет дал:

«Ты, – говорит, – сознайся и факта трактирного не отвергай, но что у тебя будто сто рублей в келье в клобуке заделаны, не обнаружь, потому что они тебе самому годятся на другой случай, а отвечай смело, и за тебя тот, кому надо, больше заплатит. Я эту необходимость понимаю».

И привезя впавшего в разбойники с собою в обитель, доложился игумену, которому все рассказал и, быв с ним наедине, предложил тому на выбор: оглашению дело предать или дать ему триста рублей на потушение. Игумен же был весьма в правлении опытный и, видя в чем дело и какой может быть стыд, много не говоря, просимые деньги приставу вынес и подал; после чего тот сейчас и уехал, а потом игумен стал диакона укорять и выговаривал:

– Зачем ты в такое место попал?

– Ни для чего другого, как для биллиардной игры, – отвечал диакон.

– Но почему именно в такой великоскорбный день, когда никто не ходит?

А тогда диакон, сам на себя негодуя и видя уже, что все опасное для него за данными приставу поминками миновало, а голос его к служению нужен, робкость оставил и, осмелев, с досадою ответил:

– А вы когда же мне ходить прикажете? В простые дни всякая сволочь мирских людей в те места вхожи, а в такой день, как ныне, мирянин идти не отважится.

Так поступок его хотя непохвален, но рассудливость не почтена быть не может.

О безумии одного князя

В первые века христианства и в некоторые позднейшие годы до нынешнего полного порядка токмо лишь епископы были «мужьями единыя жены», прочие же клирики, как и священники, при случае вдовства не остерегались второбрачия и даже третицею посягали. Тем они избавлялись от соблазнов и подозрения, но притом уже были, как и все прочие, без особого уважения. Впоследствии же, когда христианство в нынешнее совершенное устроение пришло, которое уже никогда не пременится, то упомянутая поблажка в повторении брака замешалась только у лютеранских народов, как немцы, шведы и англичане, имеющие духовенство неполное и безблагодатное. В нашем же восточном исповедании, которое славно между всеми полнотою благодатных даров и имеет все чины духовные, то дабы его еще большею полностию исполнить, то изобильные правила и установления последующих времен для него еще поощрены возвышениями. Так великий епископский чин у нас совершенно обезбрачен, а священники и диаконы токмо единожды до посвящения их в брак вступать могут, и то не иначе как с девою, а не со вдовою. Вдова же, хоть бы как ни была честна, и добротолюбива, и непорочна, но она уже недостойна иметь мужа, готовящегося к получению благодати священства от рукоположения епископа. А посему хотя таковое правило ко благочинию церкви есть весьма необходимое и полезное, но вдовы попов если молодые остаются, то они уже во второй раз за соответственного человека, готовящегося ко священству, никак выйти не могут, а если скукою одиночества или стесненностию жизненных обстоятельств побуждаются вторично искать опоры в браке, то могут токмо в своем духовном звании за дьячка или за пономаря, а в штатских за кого придется. Но это в таких только разах бывает, если за духовной вдовою есть имение и если она сколько-нибудь для светской жизни образована в отношений разговора, танцев и прочего, что в светской жизни не так, как среди духовенства: иначе же всегдашнее вдовство становится для молодой попадьи ее неминуемою участию, которой ей и должно покориться. Но бывают и в этом безответном и добром сословии непонимающие, строптивые и непокорные, из коих об одной здесь предлагается случай.

Были два священника, оба учености академической и столь страстные любители играть в карты, что в городе даже имена их забыли, а звали одного «отец Вист», а другого – «отец Преферанц», что пусть так в этой записи и останется. Случилось же одному из них, именно отцу Висту, совсем неожиданно умереть, и оставил он шестнадцатилетнюю дочь преприятнейшей наружности и с воспитаньицем. А у отца Преферанца был сын богослов, которого лучше любили звать «бог ослов». Он учился в последних и окончил курс с превеликим горем, за старание родителей: ибо был он безо всякой памяти и страшлив до той глупости, что сам не знал, чего боялся, и до возраста самого просил, чтобы его всюду кто-нибудь провожал, а без того не решался. По ходатайству же того самого отца, сему преудивительному трусу было предоставлено место умершего Виста, с обязательством взять в жены ту преприятную красавицу, Вистову дочку. Так это все было и сделано, как начальство усмотрело и признало за благо. Преферанцов сын был обвенчан и рукоположен во священники и священствовал целый год, но по пороку беспамятства никак не мог научиться служению, и всегда его постоянно по церкви водил за руку и учил старый дьячок, хорошо службу понимавший, а в доме им руководствовала жена или ее мать, но обе они не радовались своей власти, а напротив, мать часто жаловалась и плакала, что муж у ее дочери совершенно как несмысленное дитя, всего боится, особливо же в ночное время или когда вспомнит о покойниках, к коим он совсем не мог ни подходить, ни прикасаться, а если отпевал издали, то после долго трясся. И вообще он от страха никогда не засыпал иначе, как чтобы горел огонь и все спали в одной с ним комнате, и жена, и ее мать, и еще кто был в доме, и сам всегда прятался к стенке. Но хотя он во всех разах, постоянно был осторожен и с провожатыми, но однако, выйдя по одному случаю вечером на крыльцо, заторопился впотьмах и, вообразив что-то страшное, жалобно вскрикнул и упал от ужаса, попав головою на оскребальную скобку, и повредил темя. От этого он сразу всех последних способностей и ума лишился, и целых два года всюду прятался, и только, голодом побуждаемый, мычал как теленочек, когда для того час его пойла настанет. На третий же год он умер и погребен с честью, как по сану его подобало, в ризах, и со святым евангелием, и с крестом, а место его тотчас дано другому. Молодой же вдове сего несчастливца, которой было в ту пору всего только девятнадцать лет, осталось делать что хочет, без всякой помощи. Но у нее был крестный отец советник, и он так этого оставить не хотел, а приехал к архиерею и очень смело стал ему излагать некоторую известную ему тайну, что оставшаяся вдова робкого покойника должна иметь все права как девица и, выйдя вновь замуж, составить свое и мужнино благополучие: ибо долгое ее терпение с тем покойником одно

превосходство ее сердца и характера показывает. Для этого он просил владыку возбудить ходатайство о дозволении ей удержать место за нею как за девицею; но владыка сказал: «Как подобное ранее не предусмотрено, то и не стоит, да не молва будет в людех». Этот любопытный случай, быть может и еще когда-либо возможный к повторению, однако не остался в совершенной сокровенности, и именно – прокрался в молву. Овдовевшая же, оставшись в горестной нужде и еще к тому же мать при себе имея, ни за дьячка, или мещанина, или однодворца чтобы выйти замуж ожидать не захотела, а пристала к хору поющих цыган, проезжавших тогда в Курск к перенесению иконы пресвятая владычицы Коренския, честного ее знамения. Цыгане же, за приятный и чистый голос той женщины, приняли ее в свой табор и хорошо ее и ее мать содержали, но как молва о ней была известна, то она прозвалася от всех в хоре «мадемуазель попадья», и жила в Москве на Грузинах, и была очень славна своим пением, и потом вышла замуж за богатого князя, который ни за что бы на ней не женился, если бы она была вдовая попадья, а не свободная цыганка.

Так-то светского звания люди, в нелепом своем пренебрежении к роду духовных, сами себя наказуют и унижают свой собственный род, присоединяя его даже лучше к цыганству.

О вреде от чтения светских книг, бываемом для многих

Ректор содержал в семинарии племянника своего, его же любяше, и не имея иных живых отраслей родства своей фамилии, изрядно его от всех отличал: водил в тонком белье и в чистом платье и предполагал оставить его всего своего имения и имени наследником и поддержателем – в чем и духовную написал и положил ее за рукоприкладством свидетелей лежать до умертвия. Племянник же тот был видом хорош и умом быстр, а сердцем приятен, и прошел уже все риторические и философские науки, и достиг богословского класса, и так как любовь ректора к нему все знали, то учредили его по общему предложению библиотекарем. А по той должности положили ему давать в месяц семь рублей жалованья. Это родственнолюбящему сердцу ректора было в благоприятие, а племяннику его открывало многие для его лет и приличные удобства и удовольствия, как-то: цветной галстучек для воскресного дня против положения других, или духов и помады на выход для прогулки. Но он стал располагать теми жалованными деньгами совсем не так, как от его юности ожидали, – ни перчаток, ни манишек, ни галстуков, равно как ни духов или помады, или еще чего-либо подобно невинного и летам его свойственного он для себя не покупал, а предался чтению книг чужеземных писателей, почаще всего аглицкого писателя Дикенца, через что в уме его, дотоле никаким фантазиям неприступном, начались слабости, предуготовлявшие его влиянию соблазна, от коего он и погиб, не наследовав ни славы, ни богатства, ни доброт своего дяди и не оставив другим после себя ничего, кроме страшного примера поучения.

Неподалеку от семинарии в малом домике над речкою при великой нужде и горести жила некая вдова рисовального учителя и, наконец, дождалась дочери, которая, достигши шестнадцатой весны, стала ей помогать в шитье рубах на семинаристов. Тогда обе они от этого скудный заработок свой получать начали и тем терпеливо и честно себя содержали через целые два года, но, не менее того, врагу рода человеческого, всюду успевающему посевать бедствия, обе эти женщины, столь казавшиеся честными, соделались виновницами превеликого несчастия для достойного и предуставленного к счастию юноши, который имел все права быть под покровительством особ самых именитых.

Обычаем было так, что мать с дочерью своею работу на семинаристов шили, а когда время наставало, эконом посылал двух служителей с корзиною, и мать с дочерью в ту корзину все свое пошитье укладывали, а служители, продев в нарочитые кольца корзины длинную палку и взяв ее концы к себе на плечи, оба ее несли, а вдова за ними сзади тихо следовала, а дочь оставляя одну в домке. По принесении же белья эконом оное весьма смотрел и в достоинстве проверял и только тогда принимал; но всегда сие было без спора, потому что все от них принесенное всегда было в большом порядке. Потом же эконом им производил работный расчет, и вдова получала деньги под расписку, и дешевле их ни одна шитвица не соглашалась, ибо они одни могли так дешево брать, потому что жили в своем домке. Домик был хотя худ и мал, но за квартиру они все-таки не платили, и отец эконом, который постригся в монахи из тульского купеческого сословия, это принял и на том цену им сбавил. Но не радостно было то, что от этого последовало, в самом, так сказать, романическом роде.

Случилось раз такое обстоятельство, что сама вдова заболела некоторою опасною болезнию ног от простуды и прийти к расчету в субботу за получением денег сама

не могла, а послала ту свою дочь, сказав ей: «Видишь, что я нездорова, а ты уже не маленькая: пойди перемени меня и получи деньги на наше употребление».

Дочь пришла к отцу эконому, и как она видом была очень худенькая, то отец эконом ее не оставил перед собою долго на ногах стоять, а сказал «сядь» и, видя ее пред собою неопытную, стал учитывать строже для экономии и нечто из платы им сэкономил, но зато, видя ее невозражение, при отпуске ее обратно домой подал ей для лакомства на дорогу отрезанного рахат-лукума, приготовленного с розовым маслом, от коего сладкий и приятный дух, будто от рук архиерейских, ошибает и обоняние приятно нежит.

Та же девица, приняв сладость, поблагодарила, и как в другой раз в следующую субботу за счетом пришла, то уже принесла эконому в отдарение за его рахат-лукум простой белый носовой платочек, но с преискусно на уголке вышитою шелком пташкою журавель и, подавая это, сказала, что просит принять подарок за внимание к больной маменьке, которой она данное ей экономом лакомство отнесла, а это шитье своего рукоделья приносит.

Эконом этот злополучный дар принял и по случаю показал затейный платок ректору, а тот сказал: «К чему тебе это? И я хочу иметь и себе такой, и мне нужнее, когда случится на купеческом обеде вынуть. Скажи ей только, чтобы мне птица была другая, более соответственная, а не журавль». И учтивая сиротинка скоро сделала два платка и принесла до выбору на вкус ректора, а у обоих платков на углах шелком метаны разные птицы: одна цапля на вершине древа гнездо свивает, а лунь в темном воздухе плывет и во тьму красными глазами смотрит. – Все шитье было весьма искусно, но ректору не понравилось, потому что он себя скоро в архиереи ожидал и мечтал уже, чтобы ему стоять на парящих орлах и дух воздымать в превыспренные, но сказать о том через эконома не хотел, да не молва будет в людех и да не повредит. А девица же, всего этого понимания чуждая, ему двух птиц наметила: ночную да болотную – что совсем как бы в насмешку. Ректор призвал ее пред себя персонально и говорит:

– Шитво твое искусно, но фантазия выбора несообразная. Для чего ты мне, духовному лицу, напрасно такую птицу вышила, как цапля, которая на болоте сидит или только по грязным берегам шагает? Это неуместно.

А она ему отвечает, что цаплю вывела в том рассуждении, что цапля птица древняя, из Египта, и она змей и гадов поглощает и тем содействует очищению земли от темных пресмыкающихся. И привела от неожиданной в ней начитанности, что большие болотные птицы составляют отдаленное потомство тех, кои своею работою освободили землю от гадов, кишмя кишевших при ее начальном виде, и тем сделали лучшим жителям жить можно. А потому-то она и нашла, что цапля духовному лицу будто очень прилична.

– Напрасно ты много рассуждаешь, – отвечал ректор. – Да и если бы так, то тогда к чему же другая – эта сова, или лунь, красными очами во тьму смотрящий?

– А это, – отвечает девица, – к тому, что он во тьме его окружающей сам свет в себе имеет и вредителей жизни видит.

– Да ну, ты, вижу, немалая вольнодумка и очень вольно рассуждаешь… Но тогда скажи: для чего эконому в его малом чине журавля в небе дала?

– Журавли порядок любят и справедливый суд судят.

– Ага! вот какая ты Шехерозада! Ну, однако же я не султан и долго тебя слушать не намерен; но ты очень вольно рассуждаешь. Сделай же ты мне теперь до выбору еще два платка, только так, чтобы могла мне угодить. Назначь такую птицу, которой дано в самых высях парение и оттоле широкое созерцание.

Говорит он ей это, ясно знаменуя птицу орла, на котором желал опереть свои нози, но прямо то выразить и ей не желал, чтобы не было пересказу, а ее вкусу и благоразумной догадке доверялся; но она хотя тонкий вкус в изучении своего мастерства имела, но почтительную догадку ко угождению особам через многочтение светских книг совершенно утратила и ум свой и доброту чувств испортила. Так она, своими затеями водяся, принесла ректору два новых заказа, где на одном была преизящно расшита малая телом птица, имеющая предлинные, как распущенные парусы, долгие крылья, а другая – ласточка. Понятно, что они обе ректору не понравились,

и он спросил о первой: «Это что за помело и что оно выражает?»

Девица же отвечала:

– Это океанская птица, по названию Фрегат. Она над беспредельностью вод летает на такое далекое пространство, куда ни один орел не смеет отважиться.

А ректор сказал:

– Не твое дело говорить так об орле: на орла изображении высший сан духовный в церкви становится.

Девица покраснела и стала приносить извинения, что об орлецах, в служении употребляемых, не знала, а судит об орле так потому, что птицы эти хищничеством живут, других терзают и живую кровь проливают. Для того ей и казалось, что орлы на языческих знаменах изображены, а в христианском вкусе ей лучше орлов кажется тихая ласточка, милосизая птичка, у окна мирных домов обитающая, отлетающая и опять к нам отовсюду возвращающаяся.

Ректор ее слушал и на нее смотрел и молвил:

– От кого ты, однако, таким неистовым духом напоена? Повинись и принеси откровенное покаяние.

И она, повинясь, извинения просила и отвечала, что другого научения не имела, как с покойным отцом своим, учителем, говорила и от него же приобыкла читать много книжек, отнимая для того часы от своего сна и отдыха.

– А какого писателя ты больше книжки читала?

– Дикенца.

А на вопрос: через что ей Дикенц очень нравится? – отвечала, что чувствует утешение в соревновании благородству характеров и правил тех скромных лиц, которые у этого сочинителя представляются в самых простых житейских оборотах и силу себе почерпают в кроткой высоте христианского духа. – На вопрос же: имеет ли она себе образец женской добродетели, коей имеет симпатию следовать, она назвала «Малютку Дорит», которая при отце в дурном сообществе, в котором жила, между самыми порочными людьми и всех жалела, но сама чистотою и кротостию отличалась. Ректор велел ей лучше иметь примером моавитянку Руфь; но та, скромно на него глядя, ответила, что Руфь ей не во всех поступках равно нравится и она во всем следовать ей как христианка не может.

Столь строптивый ответ побудил ректора приказать ей немедленно удалиться, а после того тотчас же и платки ее изделия ей отосланы обратно с племянником, без покупки, и пошитво белья у них отобрано и передано другим шитвицам. А чрез такое справедливое наказание, наглостию той девицы заслуженное, она с больною матерью стала терпеть большую нужду и от одного порока незаметно перешла к другому. А именно, когда племянник послан был к ней для того, чтобы видеть беспорядок ее мыслей, пришедших от чтения, которое и сам он избрал, то вышло, что он, принесши ей обратно платки и мало с ней поговорив, а также увидав их бедность, поддался юношескому пылкому обольщению, и начал находить в душе ее нечто для него трогательное, и вдруг начал благородство ее выхвалять, а дядю, в котором имел такого благодетеля и такого наставника, стал осуждать. Потом же скоро от преданного ректору человека узнано было, что племянник принес и отдал матери той девицы все свое жалованье, семь рублей, которое получил за месяц, и когда ректор его в том обличал, то он отвечал с грубостию: если они и враги, то и врагов напитать должно, а что он не может сносить их бедного благородства и в принесении помощи усматривает лучшее удовольствие, чем в покупании для самого себя перчаток, галстуков и помады. А еще через малое время объявил искреннему своему товарищу мысль совсем в духовное звание не идти, а поступить в светские и на той Дикенцовой барышне жениться. Товарищ же тот, правильно поставленный разум имея и ректоровым мнением дорожа, как должно, – тайну эту ему тайно же, для спасения друга, предал, и тогда иные меры приняли, а именно: тогда ректор попросил полицию испытать наследницу учителева учения: коего она духа? а племяннику объявил, что он теперь только надвое избирать должен: или жениться на кафедрального дочери и хорошее место получить, или же всего лишиться, и три лишь дня ему дал на рассуждение.

Полиция испытала девицу: коего она духа, – отпустила ее домой с отзывом, что за ней ничего не открыто, а молодой человек, после многих слез и глупых воплей и стенаний от мечтаний своих, был на третий день согласен отказаться от своего пристрастия с тем лишь, чтобы той девице дано было сколько-нибудь денег и она бы сама их любовный уговор отвергла и отказалась, ибо он легковерной клятве своей хотел быть верен, но и места в хорошем приходе упустить не желал.

Видя такое колебание, ректор, движимый родственною снисходительностию к племяннику, и это его настойчивое желание исполнил: он послал девице с письмоводителем двести рублей, чтобы она деньги взяла и немедленно написала отказ малодушному, но она и тут обнаружила гордость: денег нимало не взяла и даже в руки не приняла, но требуемый отказ гордо и скоро написала. А как тут одновременно и окончание курса приспело, то освобожденный племянник сейчас же на дочери кафедрального женился и рукоположен во священники с назначением на завидное место. Но судьбою сему непослушному за его непослушание, которого и потом не оставил, не суждено было прочного счастия. Были ему даны и достатки, и жена домовитая, простая и не мечтательница, которая ему в три года брака их даже четырех прекрасных младенцев подарила, так что он вполне вкусил счастия семейного; но он, однако, не притупил жала скорби и среди всех радостей тайной тоскою томился, и когда на четвертом году его брака та бывшая его самовольная невеста от злой чахотки скончалась, в нем то долго сокрытое жало греховной любви столь обнажилось, что он забыл все касающее своего сана, пришел в храм, где ее отпевали, и, стоя при гробе, горько плакал. А потом, как бы ничему не внимая, стал ходить на прогулку к городским ветряным мельницам, которые за домком осиротевшей вдовы на городском выгоне стояли, и видали его, что неоднократно ко вдове заходил, и ее словами утешал, и денег ей подавал, и сам с нею недостойными мужества слезами плакал. Так он дошел до той меланхолии, что, приходя к тем мельницам, где покойная часто сидеть любила, сам тут долгие часы проводил в тоске и даже не боялся, что иногда ночь его здесь застигала и облегала тьма, а только дыханье ветра да шум от резко машущих крыльев, да разве мельник на миг поглядит из дверей с фонарем, да пес с проезжим помольщиком под телегою тявкнет, и снова все стихнет. Но он никакого из сих впечатлений не тяготился и после одной бурной ночи найден убитым мельничным крылом, под которое, вероятно, в углубленном раздумье ринулся и был сначала высоко взброшен вверх и потом, перекинутый силою, ударен о землю, отчего от разу лишился и сей, ему несносной, жизни, а быть может, и будущей, ибо пресек дни свои сам своевольно.

Ректор же, быв тогда уже архиереем, сам сего несчастного безумца отпевал и, стоя на орле, действительно всем показал свою твердость и неволнение, ибо, достойный своего сана, он уже не свояси и не южики в сердце своем привитал, но обнимал в ней же поставлен пасти.

Так это чтение книг романических столько душ погубило, которые могли бы иметь свои законные радости, и – что дражае того – мужа достойного все родные заботы о кровном и искреннем ни во что обратило. Таков Дикенц.

О новом золоте

По награждении другого священника золотым крестом равного значения, которым ранее кичился один отец Павел, сей непобедимец не стерпел и стал утверждать в компаниях, что дарованный священнику крест сделан «из нового золота». И как это повторялось многократно и многообразно, в олтаре при облачении, в домах при крещении и других требах, и при закусках, и на вечеринках, то это дошло до новонагражденного и очень его стало оскорблять, то он, встретив отца Павла, когда сам был при кресте, сказал ему:

– Отец Павел! если вы не для унижения моего, а в действительности сомневаетесь, что крест мне дан будто из нового золота, то остановитесь на мгновение и, посмотрев, сами удостоверьтесь в девяносто шестой пробе.

Но отец Павел со всегдашнею своею гордынею и острой юморыстыкой отвернул сего ласкавшегося к нему простодушного коллегу ладонью в сторону и сказал:

– Не желаю.

Но тот стал его убеждать и просить, чтобы поглядел, ибо на кресте уже сам нарочно пробу просил выбить. А отец Павел, оставаясь непреклонен, проговорил:

– Хотя бы там и сто девяносто шестая проба была выбита, но я при своем остаюсь, что этот крест из нового золота сделан. – И еще добавил, что: вам-де так иначе и не следует.

А как все это происходило на улице почти в собрании публики, то новый крестоносец на сей раз уже столь сильно оскорбился, что занес жалобу благочинному и просил доложить владыке об унижении и об оказании от отца Павла защиты. Владыка соизволил и приказал благочинному дознать у отца Павла: на чем он рассеваемые им для сотоварища оскорбительные слухи утверждает? Благочинный, избегая объяснений с отцом Павлом в своем доме, пришел к нему сам будто для шашечной игры и в забавную минуту сказал о претензии оскорбленного крестоносца, крест которого будто из нового золота сделан.

Но отец Павел нимало не подался, а рассмеялся и сказал:

– Неужели же и твое богомудрие сим тоже смущается?

– Да… признаюсь, – отвечал благочинный, – и я смущаюсь, потому что оскорбляющие слухи о новом золоте со временем о всяком пустить можно.

А отец Павел встал, шашки смешал и, задув свечи, с гордостаю произнес:

– То, что я говорю, всегда есть верно и справедливо и приятия достойно, и ничего в себе ни для кого оскорбительного не заключает; но оскорбительно есть для меня и иных умных лиц, к духовному сословию принадлежащих, слышать и знать, что в ряду нас могут быть таковые невежды, коим неизвестно, что орденские знаки и кресты никогда из старого, перетопленного и во всяком употреблении бывшего золота не делаются, а из новых, чистых слитков рубятся и опробуются. И я бы сие всем вам, любителям крестов, посоветовал это ведать и в дурачестве своем на более знающих обычаи и законы не обижаться.

Об этом ответе благочинный в умягченном сокращении донес владыке втайне, так как прежнее мнение имел и владыка. И его преосвященство нашел сказанное отцом Павлом за весьма внимания достойное и велел новому крестоносцу не обижаться, что он носит крест из нового золота.

О петухе и о его детях

Геральдический казус

Бригадир Александр Петрович был не великой природы корпуса, но пузаст, всегда заботился, чтобы иметь хороших для изготовления столов кухарей, и для того каждые три года отдавал в Москву в клуб двух парней для обучения поварскому мастерству и разным кондитерским приемам разных украшений. Через такое хозяйское предусмотрение у бригадира никогда в поварах недостатка не было, а, напротив, было изобилие, и все знатные господа к его столам охотились. Но он, без перестачи своему правилу следуя, в одно время отослал в Москву еще двух хлопцев, из коих один, будучи на вид самого свежего и здорового лица, не перенес у плиты огненного пыла и истек течением через нос крови, а другой, Петруша, собою хотя видом слабый и паклеватый, все трудное учение отменно вынес и вышел повар столь искусный, что в клубе лучшие гости и сам граф Гурьев ни за что его отпустить не позволяли и велели давать за него бригадиру на их счет очень большой выкуп. Бригадир же, сам тех радостей ожидая, и слушать не хотел о выкупе Петра, но, не дождав ни раза покушать его приготовления кушаньев, неожиданно помер, а вдова его бригадирша, Марья Моревна, любила держать посты и, соблюдая все субботы и новомесячия, ела просто и, оставшись опекуншею детей своих – сына Луки Александровича и дочерей Анны и Клеопатры, тонких вкусов не имела, а по-прежнему в посты ела тюрьку, а в мясоедные дни что-нибудь в национальном роде, чтобы жирно, слащаво и побольше с пеночками утоплено. А потому она даже и всех бывших поваров пустила по оброку и Петрушу в клубе оставила, побирая с него в год по семисот рублей на ассигнации. Петруша же сам получал на ассигнации больше, как две тысячи, и уже давно назывался не Петруша, а Петр Михайлович, и столь сделался в независимости своей уверен, что женился на племяннице старшего повара-француза, которая в него но женскому своему легкомыслию влюбилась, а в законах империи Российской была несведуща и не постигала, что через такой брак с человеком русского невольного положения она сама лишалась свободы, и дети ее делались крепостными.

Бригадирша же Марья Моревна, прослыша о том, что Петруша без ведома ее обвенчался на французской подданной, поначалу хотела поступить с ним грубо, но,

имея обычай о всем советовать с своим духовным отцом, рассудила иначе – что от этого ей и детям никакого убытку нет, и наложила только на Петра оброк против прежнего вдвое, так как, по рассуждению священника, Петр, породнясь с первым французом-поваром, мог сам теперь просить о прибавке жалованья и статьи доходов. Требование это Петр Терентьев через многие годы исполнял, и оно его не изнуряло, а, напротив того, он еще себе немало добра нажил, и когда у него родилась дочь от французки, то водил ее как барышню, в коротких платьицах, в полсапожках и штанцах с кружевами, и учил ее грамоте и манерам у иностранной мадамы в пансионе. Так он был уверен, что получит выкупом вольность, и от всех жениных родных и знакомых тщатливо крыл свое крепостное сословие, оброк аккуратно высылал и паспорты получал сам с почты. Но поелику несть ничто тайно, еже не объявится, то пришла к нему в Москву сестра его, смазливая девка, бежавшая от взысканий управителя, который будто бы доискивался ее и для того ее притеснял. Родственный голос крови возопил в Петре и побудил его на иное безрассудство: ту сестру у себя скрыть, хотя с сильным наказом, чтобы она о беде своей, от которой бежала, никому бы не открывала и через то их крепостного звания не обнаружила. Однако, по возникшему о ней подозрению, что ей некуда иначе бежать, как в Москву к брату, она там была открыта и взята по пересылке к наказанию при вратах полиции и к водворению в имение. А как это сталось в то время, когда дочери бригадира Анна и Клеопатра уже кончили учение и пришли в возраст, то в наказание Петру и сам он был потребован в деревню к наказанию за укрывательство сестры, а потом оставаться там и готовить для стола помещиков.

Тогда весь секрет Петра, столь долго им от жены скрываемый, во всем виде перед всеми обнаружился и столь сильное имел на заносчивую французскую гордость жены поражение, что она, забыв закон брака и все обязанности супружества, решила мужа оставить и бежать с дочерью в свою природную страну. Другие же доносили так, что будто даже и сам Петр на это ей помогал и сам был согласен навсегда их не видеть, только чтобы не быть им в господской крепости. Но управитель прибыл в Москву для их препровождения, все это вовремя открыл и сдал их этапу для доставки, и тут жена Петра по пути следования в малом городке, в больнице, на этапе умерла, а Петр с дочерью доставлены в имение, и Петр за свое непослушание и за сестру наказан при конторе розгами, а дочь его, Поленька, по четырнадцатому году, оставлена без всякого наказания, а даже прощена и приставлена к барышням, из коих младшая, Клеопатра Александровна, ее весьма жалела и спать у себя клала. А Петр стал готовить на кухне и начал сильно болеть грудью и кашлять, да потом скоро и умер.

Бригадирша о смерти сего искусника печь и варить истинно скорбела; ибо смерть его постигла как бы нарочито как раз при помолвке старшей барышни Анны за именитого жениха, причем в дом бригадирши съезжалися веселиться многие гости, и надо было для своей славы блеснуть образованным хлебосольством и показать достатки и деликатность. При этом же приехал и брат невесты, бригадиров сын Лука Александрович, и привез с собою двух товарищей-офицеров для танцев.

Из этих один, тоже именитого рода, скоро влюбился во вторую барышню, Клеопатру; узнав о ее хорошем приданом, похотел жениться. Так вслед за первою свадьбою старшей сестры ожидалась и вторая, а в приданое за нею, кроме всего, что она по разделу получила, она брала еще себе Петрову дочь Поленьку, которой тогда было уже шестнадцать лет, но Лука Александрович этому начал сильно противиться и, придя к матери, повинился, что мимо воли своей чувствует к этой крепостной неодолимую пассию.

Бригадирша приняла это за обыкновенное в молодом возрасте бываемое и, быв рассудительна на это, не только сына не обидела, но, напротив, желание его исполнила и девку ей не отдала. Лука же Александрович после свадьбы второй сестры целый год в деревне в отпуске проводил дома и веселился, часто посещаемый двумя своими полковыми товарищами, которые также вблизи их села оставались, наслаждаясь домашним воздухом и удовольствиями. А Поленька через это время явилась непраздною и, имея, как видно, от матери врожденную французскую кокетерию, столь Луку Александровича чрез свою ласковость и милоту пленила, что он дошел до неожиданного безумства и, находя в ней будто все прелести ума и кроткого сердца, опять признался матери, что пассия его через годовое преступное соотношение с тою полуфранцуженкою не только не угасла и не устыдилась, но что он, напротив, того не может перенести, чтобы оставить ее в таком положении, а просит у матери дозволения на неравный брак с нею. Мать ему стала представлять опытные резоны, чтобы его воздержать от пагубы, ибо и начальство военное ему на брак с крепостной никогда бы не соизволило; но он обнаружил самую упрямую

непокорность и, имея тогда от роду двадцать пятый год, стал говорить, что уже не малолетний и готов для своей любви чтобы и службу бросить, а на Поленьке обвенчаться тихо, без дворянского общества, как простые крестьяне, среди дня, после обедни. Так он почитал загладить грех своей совести браком и жить в деревне, занимаясь хозяйством.

Бригадирша, видя такую непреклонность и любя сына и сожалея о его безрассудстве, все испытав, что могла, в тоне строгости, обратилась по давнему своему обычаю за последним советом к своему духовному отцу и просила его идти с просфорой от обедни офицера увещевать и угрожать ему страхом религии за непослушание воле родительской. Тот их церкви священник послушался ее приказания и, придя к офицеру, говорит ему указанное, но напрасно, и после того еще и раз, и два, и, наконец, втретие пришел, но получил от него такой отказ, чтобы в четвертый раз и приходить не отваживался, ибо мнилось сему заблужденному, якобы он сам слово божие знает и почитает, и грех свой пред беззащитною сиротою имеет выну пред собою, и за долг совести своей почитает его исправить. «А вы, – говорит, – меня от честного намерения отклоняете и на бесчестное наводите. Хочу быть более богу покорнее, нежели прочему».

Священник, видев, яко ничтоже успевает, но наипаче молва бывает, оставил сварливца и, придя к его матери, сказал, что по упорству обнаруженному он ничего от мер резкости не ожидает, а, напротив, быв в жизни опытен, опасается предвидеть нечто непоправимое в том роде, что непокорный сын может снестись с близко проживающими полковыми офицерами и умчит как-нибудь темною ночью возлюбленную им девицу на тройке борзых лошадей в какое-нибудь отдаленное село и там с нею обвенчается, и будет тогда последняя вещь горше первыя.

Этими неожиданными словами благоразумный священник так бригадиршу запугнул, что она замоталася перед ним, как ясырь, и, изрыгая на сына хулы света, хотела исключить материнскую любовь из сердца, – снять отцовскую икону всемилостивого спаса и изречь сыну проклятие; но священник ее от такого противного безумия воздержал, а подал ей совет такой политики. Нравоучение его было, дабы испробовать совсем иное – как бы изменить будто свое недозволение и мнимо на тот неравный брак согласиться, но с тем, чтобы упредить это – написав для девицы отпускную и занести ее в первой гильдии купчихи, а тогда на ней, как на купчихе, обвенчаться.

Между же тем, как бригадирша не могла этого скоро понять, она еще больше даже на самого священника рассердилась, а священник сказал ей:

– Пожалуйста, повремените на меня с гневом вашим, а более того, вникните, – ибо видели вы уже немало, что гнев ваш ничего к облегчению не соделает, а лучше прослушайте далее мою пропозицию и обсудите; ибо сказанное неспроста мною предложено. Вы пошлите сына вашего в город самого хлопотать о ее вольности и купеческом звании, – и он на все то охотно согласится и в радости своей поспешит, а мы в тот самый час, как он из деревни за околицу отлучится, нимало не медля, сию девку по вашему приказанию с каким укажете с крепостным невежею обвенчаем, и тогда будет всем этим беспокойствам естественное окончание. – Но только одно у нее оговорил, чтобы ему самому была за то от бригадирши всякая защита от его мщения.

Бригадирша, поняв этот план, ликовала и его приняла и сказала:

– Только обстроить бы мне это дело, как это тобою умно рассуждено, а потом я тебя скрою; я тебя в свой комнатный погреб посажу и к себе ключ спрячу, пока он уедет, буду сама есть приносить, а после я тебе к новой пашне на упадлое место лошадь подарю.

Поп пришел домой радостный и, не умея скрыть себя, говорит попадье:

– Ну, мать, радуйся – полно мне по старой сивухе вздыхать, которая пала, да и ранее того в сохе останавливалась. Будет у нас с тобою к новой пашне добрая лошадь с господского ворка, – тогда ты, когда похочешь, и к детям в семинарию навестить съездишь посмотреть, с кем Мишка водится и отчего Гриша харчем недоволен.

А попадья была нетерпячая и стала спрашивать:

– Чем угодил барыне и за что лошадь получаешь?

Поп говорит:

– Не приставай и лучше не спрашивай – не скажу: тайна сия велика есть и большой секрет между нас.

А попадья была еще ловчее попа, да вместо того чтобы прямо добиваться, стала лебезить:

– Ляжь-ка, ну ты устал, ляжь на коверчик на полу, отдохни, а я у тебя в головах сяду да в волосах поищу.

А поп был охоч поискаться и лег на пол, под ее обаяние, а она села да положила его голову себе в колени и стала его нежно, слегка, пряльною гребенкою в косах поковыривать да под бородкой ему тихо и ласково венчальным кольцом катать, а как на него от копошенья сонный стих к очам прильет, она и говорит:

– Аль еще и теперь мне не скажешь, за что нам лошадь дадут?

Поп говорит:

– То и есть, что не скажу.

А она пождет, опять в голове поковыряет да опять под бородкой ему кольцом поводит и говорит:

– Аль еще и теперь опять не скажешь?

Да так много раз к нему докучно приставаючи, привела его к тому, что сказал:

– Ах, оставь меня, пожалуйста, спать, – и все дело ей высказал.

Она же, оставив его спать, прикрыла ему лицо платком, а над носом кибиточку вздернула, а сама вышла, дверь за собою заперла и, взяв ключ с собою, пошла к бригадирше и, быв умнее мужа, испросила себе ту обещанную лошадь теперь же, сказав, что «мой поп вам все отслужит, а мне к детям съездить надо посмотреть, чем харчами недовольны». – И сама привела коня с ворка за повод к себе на задворок и поставила к резке.

Поп, как встал да увидел коня, и удивился, говорит:

– Зачем не за свое дело бралася и не в поре докучала?

А она отвечала:

– Молчи, поп, не ворчи: что взято, то свято, а ты хоть в семинарии учен и лозой толчен – да малосмыслен.

– Чем так?

– А тем, что или ты не видишь, что бригадирша стареет и со света сходит, а ее сын к самой сильной поре приходит? Что же ты, как если против него неугодное сделаешь, то ведь ты в погребу весь свой век не отсидишься, а как вылезешь, то тогда и тебе и нам всем за тебя худо будет. Неужли ты не знаешь, что день встречать надо, становясь лицом к восходящему солнцу, а не к уходящему западу.

Поп, ее загадки прослушав, и начал стужаться и спрашивать:

– Вижу, – говорит, – свою промашку, да что ж теперь сделаю?

А она отвечает:

– Ты не сделаешь, а я сделаю.

Поп еще больше испугался.

– Ты, – говорит, – гляди, что еще не задумала ли?

А она отвечает:

– Не твое дело – ты свое, за что взялся, то и совершай, а я сделаю, что надо полезное сделать.

Поп было серьезно занялся, как узнать, что его жена думает, да никаких средств не умел и ничего не узнал.

– Вот нет, – говорит, – во мне твоей Евиной хитрости, чтобы узнать у тебя таким манером, как ты у меня все выпытала, под бородкой шевеливши, но, однако, сделай милость, помни, что Евиным безумием Адам погубленный.

Но попадья ничего не внимала, а сказала такой сказ, что если поп ее заранее осведомит, когда бригадиршин сын съедет в город, а Поленьку с мужиком свенчают, то она никакого мешанья не сделает, но если он от нее это скроет, то ее любопытство мучить станет, и тогда она за себя не поручится, что от нетерпения вред сделает.

Поп уступил.

– Ну, ладно, – говорит, – я тебе лучше все скажу, только уж ты знай, да никому здесь не сказывай. Лука Александрович себя от радости не помнит: с матерью помирился и послал за товарищами-офицерами. Они завтра все вместе в город поедут, а как они выедут, так сейчас честолюбию Поленьки будет положен предел, и не успеет тот до города доехать, а мы ее здесь окрутим с Петухом.

Был же Петух бестягольный мужик на господском птичном дворе – нечистый и полоумный, с красным носом, и говор имел дроботливый с выкриком по-петушьему, а лет уже сорока и поболее.

Это услыхав, попадья руками всплеснула и говорит:

– Ах вы, помору на вас нет на обоих с бригадиршею! Старые вы злодеи и греховодники – какое вы зло совершить задумали! Нет, я этого ни за что видеть не могу и ни за что здесь не останусь, а как теперь есть у меня свой собственный конь, мною выпрошенный, то делай ты, что ты взялся, а мне пусть батрак завтра рано на заре сани заложит, – я возьму лукошко яиц да кадочку творожку и поеду одна в город в семинарию, там посмотреть, хорошо ли их хозяйка на харчах держит, и только через три дня назад приеду.

Поп и очень рад.

– Ступай, – говорит, – мати, только мне шкоды не делай. Навести Гришу и Мишу и скажи им мое родительское благословение, и чтобы со всякими безразборно не водились, а помнили, что они дети иерейские, а не дьячковские.

Мать взяла у попа ключи, сбегала на колокольню за лукошком, поставила в сани лукошко и кадочку и поехала. Да как выехала за околицу, так и пошла коня по бедрам хлестать хворостиною. Шибко она доехала до первой станции и остановилась.

– Мне, – говорит, – надо из другого села попутчиков дождаться, чтобы парой коней спрячь.

И как по некоем часе ее ожидания к станции подкатили сани под светлым ковром, где сидели Лука Александрович и его два товарища, – она взяла Луку в сторону и говорит:

– Никуда дальше не поезжайте и ни одной минуты не медлите, а скорее назад возвращайтесь. Так и так – вот вам тайна, которая против вас умышлена, и покуда вы сюда ехали и здесь остаетесь, там всё делают.

Лука Александрович схватил себя за виски руками и завопил:

– Горе мое, лютое горе! Если это верно, то теперь все поздно – они уже успели ее обвенчать!

Но попадья его скорбь утишила.

– То, что я вам открыла, – говорит, – это все истинная правда, но опоздания еще нет.

– Как нет? – воскликнул Лука. – Мы ехали сюда час времени и более, да назад должны скакать, а долго ли время надо венец надеть!

А попадья усмехается.

– Не робейте, – говорит, – не наденут! Садитесь скорее в свои сани, и скачите назад, и стучитесь прямо в церковь, а в ноги возьмите с собою мое лукошечко да дорогой посмотрите. Оно вам хорошо сделает.

Те и поскакали. Порют, хлещут коней, как будто задушить их хотят на одной упряжке, а между тем и в лукошко глянули, а там вместо яиц пересыпаны мякиной венцы венчальные…

Офицеры видят, что их дело хорошо оправлено, потому что венцы здесь, а других в церкви нет, и венчать нечем.

Подскакали к церкви; выскочили из саней – лукошко с собою, и прямо толкнули в двери, но обрели их не позабытыми, а плотно затворенными и изнутри запертыми, а там за дверью слышны беготня и смятение, и слабый плач, и стон, и священниковы крики…

Услыхав все это, Лука Александрович и его два товарища дали порыв гнева и, сильно заколотив в двери, закричали:

– Сейчас нам отпереть! Ибо знаем, что в храме насильный брак совершается, и мы не допустим и сейчас двери вон выбьем…

А как в храме ничего не отвечали, то они стали бить с денщиком в двери, и двери высадили, и вскочили в церковь все – и попадьино лукошко с собою.

Вина же смятения в храме была та, что венцов, которые попадья с умыслом выкрала, не могли найти, и в пре о том делали шумные крики. Поп корил дьячков, что, может быть, унесли и заложили, а дьячки на него спирались, говоря: «Мы венцов из ставца не брали». Но дьякон никого не поносил, а молча писал в книгу по женихе и невесте обыск: «Повенчаны первым браком крепостные Пелагея Петрова да Афонасий Петух, писанные по ревизии за их господами», – а обыскных по них свидетелей всего два человека стоят без грамоты и Поленьку за локти держат, а Петух в завсегдашнем своем скаредстве, только волосы маслом сглажены, поставлен, как сам не рад, но безответен.

А тут в двери заколотили Лука Александрович с сотоварищи – все войственники отважного нрава, да при них бомбардир из черкесов, превеликий усилок, в таком возбуждении, как бы опившись схирского напитка, яко непотребные, от рассуждения правоты отчужденные безумцы.

Тогда все, кто на каком месте стоял, заметалися, особенно как Луки Александровича голос услыхали, и, забыв о венцах, кинулись совершать, что скорее к исполнению: обыск подписали и стали к аналою, имя божие призвали и петь уже зачали, сами не зная, чем по пропаже венцов кончится, а дьякон по неудовольствию на попа думает, что не тому бы одному надлежало взять от бригадирши лошадь, а и его священнодиаконству тоже не мешало бы привести хотя неезжалого стригуночка, да в таких-то мыслях понес он мимо дверей книгу со вписанным обыском, а сам, проходя, размахнул пятою да нижний крюк у дверей и сбил. Тогда дверь не удержалась и распахнулась, и вошли все те осаждавшие, имея пылкий вид и самовольные обороты. Два офицера, у коих в руках венцы, начали всех толкать и похватывать, а Лука Александрович взял предстоявшего жениха Петуха за подзагривок и оттолкнул его и стал на его место, а бомбардир их, превеликий усилок, по их слову стал давить попа перстами под жабренные кости, от чего тоя боль коснулась во все части, что поп завизжал не своим голосом, и офицеры, обозлив тем же дьячков по косицам, кричали: «пойте и читайте», и те все от страха загугнеша, еже и не различити самим им, каковая действуют. Но дьякон, уцелев от сего трепания и судя, что обыск брака Пелагеи им уже с Петухом записан, а сии набеглые непорядочники, как военного звания, объявляются в духе законов непостижимые невежды и только своего бесстудного хотения домогаются, а

меж тем все сами смелого характера, а при них бомбардир, превеликий усилок, – порешил: «Э, да что нам до того! Во свете надо всем угодно жить, – тогда и хорошо». И, надев стихарь, возгласил: «Положив еси на главах их венцы», – а за ним и все, ободрясь, как овцы за козлом, пошли скорохватом и кончили.

И как только венцы сняли, так офицеры уворотили Пелагею в запасную шубу и покатили опять в тех же санях к городу, и скоро на чистой дорожке мать попадью обогнали и ее даже не поблагодарили и не узнали, а, зацепив ее ненароком под отводину, сани ее с нею вместе избочили и в снег опрокинули, и творог, который она везла недовольным семинаристам, притоптали и в одно с снегом сделали.

Мать же попадья, прозорлив и здрав ум имея, и за то даже не осердилась, а только вослед им с усмешкой сказала:

– Ничего, ты мне со временем за всё воздаси отразу.

А оные безумцы, проскакав город, взяли новых незаморенных коней и опять поскакали, и так неизвестно куда совсем умчалися. Попадья же, удостоверив для себя, через что у семинаристов на харчи неудовольствие, возвратилась назад, то застала всеобщее перелыганство: все прелыгались кийжде на коегожде, кто всех виноватее, и от бригадирши всё таили, ибо страха гнева ее опасались, и сказали ей: «свадьба повенчана», а что подробнее было, той неожиданности не открыли.

Бригадирша весь причет одарила: дьякона синею, а дьячков по рублю и успокоилась, и как она на Пелагею гневалась, то и на глаза ее к себе не требовала, а только на другое утро спросила, как она теперь с своим мужем после прежнего обхождения. Но покоевые девки ей тоже правды открыть не смели и отвечали, что Пелагея очень плачет.

Бригадирша была тем довольна и говорит:

– Она и повинна теперь всегда плакать за свою нескромность, ибо Хамова кровь к Иафетовой не простирается.

И никто не знал – как и когда все такое столь великое лганье прекратить, потому что все правые и виноватые злого и недоброго на себя опасались во время гнева. Но дьякон, быв во всем этом немало причинен, но от природы механик хитрейший от попа и попадьи, взялся помочь и сказал:

– Если мне принесут из господского погреба фалернского вина и горшок моченых в поспе сладких больших я блоков, то я возьмусь и помогу.

Тогда попадья побежала к ключнику и к ларешнику и, добыв у них того вина и моченых в поспе сладких яблоков, подала их дьякону, ибо знала, что он был преискусный выдумщик и часто позываем в дом для завода и исправления не идущих по воле своей аглицких футлярных часов, коих ход умел умерять чрез облегчение гирь, или отпускание маятника, или очистку пыли и смазку колес. Он и пошел в дом и положил всему такое краегранение, что, развертывая гирную струну на барабашке, вдруг самоотважно составил небывалую повесть, будто Петухова жена Пелагея еще в первой ночи после их обвенчания сбежала от него босая и тяжелая из холодной пуни и побрела в лес, и там ей встретился медведь и ее съел совсем с утробою и с плодом чрева ее.

Бригадирша тому ужаснулась и спросила:

– Неужели это правда?

А дьякон отвечает:

– Я священнослужитель и присяги принимать не могу, но мне так просто должно верить, и вот тебе крест святой, что говорю истину. – И перекрестился.

– Так что же мне совсем не то говорили?

А дьякон отвечает:

– Это, матушка, все со страху перед твоей милостью.

– Для чего же, – говорит, – так? Мне этого не нужно, чтоб лгали. Я наказать велю.

А дьякон ей стал доводить:

– Эх, матушка! Не спеши опаляться гневом твоим, ибо и ложь лжи рознь есть, зане есть ложь оголтелая во обман и есть ложь во спасение. Того бо вси повинни есьми, и так было и по вся дни.

И поча ей заговаривать истории от Писания, как было, что перед цари лгали все царедворцы в земле фараонской, и лгаша фараону вси и о всякой вещи, во еже отвратити его очеса от бывшего в людех бедствия. И то есть лютость, и в том кийждо поревноваша коемужде, даже аще мнилось быть и благочестивии и боголюбивии, и невозглагола правды даже и той же бе первый по фараоне, а один токмо связень Пентифаров, оклеветанник из темницы, не зная дворецких порядков, открыто сказал правду фараону, что скоро голод будет. – И потом перешел дьякон к ее делу и сказал:

– Ты же, о госпоже, сама властвуеши душами живых под державой твоей, иже есть отблеск высшего права, и вольна ты во всем счастье и в животе верных твоих, а того ради все, тебя бояся, многая правды тебе не сказывают, но я худой человечишка и маломерный, что часишки твои разбираю да смазываю, столь сея нощи думал о часах быстротечныя жизни нашея, скороперeходящих и минающих, и дерзнул поговорить истину. И ты не опали за то ни меня, ни других яростию гнева твоего, но, обычным твоим милосердием всех нас покрыв, рассуди тихо и благосердно, сколь душевредное из всего того может выйти последствие, ибо от угнетенных нас тобою может быть доношенъе властям в губернскую канцелярию, что свадьба та по твоему приказу пета бяху насилом над Пелагеею, и тогда все мы, смиренные и покорные, пострадаем за тебя, а тебе, – как ты думаешь, – каково будет отвечать богу за весь причет церковный?

Бригадирша стала ужасаться, а дьякон ей еще подбавлял, говоря:

– Да еще и в сем веце тебе самой прейдет некоторый меч в душу, и избудешь ты немало добра на судейских и приказных людей, да еще они в полноте священной власти твоей над рабами твоими могут сделать тебе умаление. Всего сего ради смилуйся, ни с кого не взыскивай, чтобы и тебе самой худа не было, а лучше подумай, а я изойду на вольное поветрие твои часы по приметочкам на солнце поверять.

И бригадирша, подумав, увидала, что дьякон действительно говорил ей с хорошим и добрым для нее рассуждением, и когда он с солнца вернулся, подала ему вместо ответа целковый рубль, чтобы всем причтом за упокой Пелагеи обедню отслужили и потом же за ту плату и панихиду, и на панихиду сама обещала прийти с кутьею. Но дьякон, видя ее умягчившуюся, рубль у себя спрятал и ей сказал так:

– Нет, заупокойному пению и рыданию быть не должно, ибо я теперь расскажу уже всю настоящую правду, которая есть гораздо того веселее и счастливее, ибо Пелагея жива и обвенчана, но с такою хитрою механикою, что не скоро и понять можно.

И в ту пору изложенные превратности бригадирше открыл, но тоже не совсем без умолчания. Сказал он ей, что непокорный сын ее Лука Александрович под венцом с Пелагеею ходил, а черкес держал Петуха в стороне за локти, и когда бригадирша стала со страха обмирать, он ее успокоил заблаговремя, что все это венчание сыну ее не впрок, ибо писан брак в книге, как надобно, – на Петуха с Пелагеею. Бригадирша вздохнула и перекрестилася, а того, что за превеликим смятением воместо венчания невесть что пето бяху, дьякон не сказал, а принес ей из церкви книгу, где брак писан на Пелагею с Петухом, и говорит: «Вот крепко, что написано пером, того не вырубишь топором. А сын твой, хотя и смелый удалец, но блазень, и закона не понимает. Пусть куда он ее умчал, там с нею и блазнует, и ему то и в мысль не придет, что она ему не жена».

Бригадирше даже весело стало, и она даже жалела, для чего не с ним, а с попом первый совет советовала, и зато, чтобы ему не быть перед попом в обиде, самого на ворок посылала, чтобы сам взял себе там любого коня, на которого только глаз его взглянет.

Но дьякон умнее себя показал и похвалами не обольстился и коня выбирать борзяся не кинулся, да не будет у старшего зависти.

– А желаю, – говорит, – я себе что скромнейшее – получить с твоего скотного двора молочную коровку сновотелу, и с теленочком, да пусть будет промеж нас двоих такое в секрете условие, что получать мне от тебя из рук в руки к успенью и к рождеству по двадцати рублей на сына в училище, чтобы ему лучше жить было, и он бы, подобно всем, на харчи не жаловался. А я это стану брать и весь наш секрет соблюду во всей тайности.

То слыша, бригадирша отвечала:

– Однако же ты, вижу я, себе не враг, и хитрости твоей даже опасаться можно.

Но дьякон ей:

– Себе никто не враг, но моей хитрости тебе бояться нечего: я тебе уготовился яко же конь добр в день брани и сам через тебя от господа помощь приемлю.

Она же хотения его совершила, но чрез все остальные дни свои имела к нему большую престрашку, а о сочетавшихся Луке и Пелагее – ниже сего предлагается.

О слабости чувств и о напряженности оных
(Двоякий приклад от познаний и наблюдения)
Благочинный градских церквей не от себя предлагал, что замечено некое охлаждение религиозных чувств, а для того, чтобы священники к трогательному покаянию как можно чувствительнее кающихся убеждениями располагали и через то как их спасение, так и свое уважение в обществе делали вероятнее. Но когда о сем все судить начали и речь дошла до уст отца Павла, то он, предлагая загвоздку, сказал:

– Как это «располагать»? И еще же мне неизвестно: какие результаты весьма сильная напряженность чувств дать может. Она может потребовать повсеместного всем выражения правды и обличения без всякого на лица зрения; но кто же снесть это может, особливо средь тех, иже рекутся «столпы»?.. Ныне не тот уже свет, как было при пророках, что и самого Ахава за колеса останавливали и даже в коляску к нему босиком поскакивали. Век наш во всем любит, чтобы были умеренны, и следует в нем живущим умеренность предпочитать прочему. Да и нам самим, худым иереям бога вышнего, не хуже ли было бы, если свет преисполнился бы непомерною страстностию. Я о себе скажу, что смотрю на это как опытный кухарь, знающий трапезующих по пословице: «недосол на столе, а пересол на спине», и сие одобряю.

А когда отцу Павлу все иные стали возражать и настаивать, что горячность более духовенству принести может, то он не согласился и предложил два предлога, которые всех раздумать заставили.

– Были у меня, – сказал отец Павел, – двое чад духовных: один открытый недоверок из столичных высланцев, непозволительного характера и мыслей, который мне о вере своей и настоящих упованиях в другой жизни никогда не говорил иначе, как по символу: «чаю воскресения» и «аминь». А была же другая, женщина сердовых лет, всегда благочестию учащаяся, но николи же в разуме истины приидти могущая. Та всегда мне весьма пространно веру свою излагала и грехи в мельчайших подробностях высказывала, и то не по единожды в год, а по трижды мне подносила. – Как же вы думаете: с которым из сих двух чад моих у нас наиближайшие и приятнейшие духовные отношения стали?

Все отвечали:

– Разумеется, с дамою, которая сильнее верила и говенье любила.

А отец Павел опроверг и сказал:

– Вот то-то и есть, что наоборот! Тот петербургский недоверок, когда он ко мне подходил, ибо обязанность чувствовал, то я его всегда поначалу спрашивал: «Ну, как ваше дело?» Он участие к нему принимал сухо и, бывало, кратко ответит: «Не знаю». – «Надеетесь ли?» – «Как же, говорит, все тем только и живут, что надежда им лжет детским лепетом своим». А я на него, бывало, не сержусь, а похвалю: «Надейтесь, говорю, это хорошо: вера, надежда и любовь – это три христианские

добродетели, но любовь больше всех. А потому следуйте, не смущаясь, заповеди спасителя нашего: и любите и врагов ваших, и ненавидящим вас творите благая». И с тем его, бывало, отпущу; а когда, по возвращении домой, сняв рясу, начну отрясать из ее кармана принятое, то знаю, что находящаяся в числе прочем краснуха всегда от сего непокорного пришла, и более я с ним во весь год ровно никаких хлопот не имею. – Дочь же моя, по трижды в год себя облегчавшая, когда приходила, то такое множество грехов за свободою своею открывала, что я даже ни одного совета ей дать не мог, ибо постигнуть не был в состоянии: коим она духом злее беснуется? А за все то находил в кармане одну мелкую серебряную монетку от нее, увернутую в розовой бумажке с надписью: «Помяните в своих молитвах дочь вашу такую-то». – И, кроме того, еще те досаждения причиняла, что когда каким-либо грехом была попрекаема, то всегда подозревала, что то отец Павел открыл ее исповедь, и прибегала справляться и расспрашивать. А когда же однажды, выведенный ее стремлением говорить о своих грехах, отец Павел ей нетерпеливо заметил: «Вы блудливы, как кошка, а торопливы, как заяц», – то она вскрикнула:

– Ах вы преступник! Вы самый секретный грех моей исповеди выдали!

Тогда, несмотря на свое бесстрашие, отец Павел дал ей собственных своих десять рублей под честное слово, чтобы она избрала себе другого для ее тайных грехов сохранителя, а в противность пригрозил ей, что по рассеянности своей может ошибочно присвоить ей один из тех грехов, которые Макар отмаливает, стоя па коленях среди стада пасомых им в отдалении телят.

И тем лишь от горячности ее избавился…

Об иностранном предиканте

Помещик нашей губернии, служа с юных лет своих в досточтимом гвардейском полку, провождал там жизнь свою столь прилично, как и прочие военные гвардейского общества. Он всегда исправно говел и однажды в год сподоблялся святых тайн в полковой своей церкви – и жил во всем как и прочие дружные и верные товарищи, ни в чем не отклоняясь ни от умеренного употребления вина, ни от общеупотребительной игры в клубах, ни от прочих удовольствий, полковому званию свойственных. Женясь же на девице некоторого русского же именитого рода, но с пристрастием к иностранным обычаям, вдруг престранно изменился. В одно лето поехал он с женою к ее родным, пребывавшим на близком к аглицким берегам острове Уайт, и, повстречав там много людей не духовного звания, но о религии рассуждающих и весьма начитанных в св. писании, сам их примером стал увлекаться и толковать себе иное не столь послушливо, как учит мать наша, святая вселенская церковь, а каждый по-своему, и все воедино твердословя, якобы всему благому на земле можно быть токмо от веры в господа Иисуса и от любви к грешным, за коих проливалась святая кровь его на Голгофе. – После же принятия такого духа все усвояли будто какую-то неопределенную радость и многие неизвестно о чем плакали и в жизни своей делали над своими привычками перевороты: не пили вина, не курили, не гневались и больше всего любили благоговение и чистоту.

Учением сим помещик, как бы Савл, озаренный, возмнил себя уже видящим небо отверсто и стал проповедовать другим; а на следующее лето вызвал к себе познакомленного на том острове нарочитого предиканта, который тоже не курил и не пил ни вина, ни сикера, но детей имел область и возил их всех при себе вместе с женою, а с духовенством насчет их главных дел практики ни о чем решительно спора иметь не хотел, ибо боялся верно, что нозе его в тесные колоды забьют или на скользком пути поставят. Он стал оспособлять хозяев, как наилучше говорить с простыми людьми о вере и как обращать их к вере во Иисуса, а о всем прочем в церквах важнейшем умалчивал и о жизненных доходах православного духовенства от треб для спасения душ верующих даже вовсе пропускал.

Духовные, скоро это заметив, доложили владыке, что́ это такое и к чему клонит в неотдаленном времени.

Услышав, что все это в наших палестинах совершается, владыка пришел в превеликую гневность, которая не была отнюдь подобна пылкому и суетливому гневу светских правителей, а, возгреваема духом благочестивой ревности, твердо и непреложно к поревнованию пламенела. Дерзость же тех ожесточенных дошла до того, что они своего предиканта из деревенского дома даже в городской дом привезли и здесь всем дамским синклитом его слушали у предводительши, званной за свое изящное лице Еленою Прекрасною. И что еще более, при тех предикациях был в послухах отец Георгий, то есть тот дамский духовник, который посвящен из княжеских заграничных

учителей и иностранными диалекты объяснялся.

Как скоро все сие стало владыке известно, то он в величии гнева своего не захотел нимало этого дольше терпеть и, велев заложить карету, сам поехал к губернатору; но на езде раздумал прежде проверить все расспросом бывшего на предикации отца Георгия. Тогда он повелел ехать к его дому, чего тот священник не ожидал и даже до того не допускал, что, увидя в окно остановившуюся карету и особу в ней помещающуюся в голубом атласном одеянии, полагал, что это не к нему, а к соседям купчиха в салопе, и не трогался и оставался покоен. Когда же, наконец, известился о настоящем значении гостя, то выбежал к нему на всходы, встречу ему сделал и кланялся и вел его под руки, направляя к скоро заказанному в гостиной чаю. Но владыка, будучи не в гостином настроении, не чаю ожидал, а, ревнуя высшему, высшего и усматривал; и потому обнаружил нарочитую сухость, так что даже в гостиные покои вовсе не взошел, а сел не обинуясь со входа в предпокое, где ожидающие простые просители в ожидании просимого ими у священника снемлются. И тут с удивлением в голосе и в устах спросил без предисловия:

– Вы ли Алену исповедуете?

Но поп, будучи светск, показал хитрость и сделал выражение, как бы не понимая о ком следует, и довел до того, что владыка по настоящему имени предводительшу назвал.

Тогда он отвечал:

– Да, владыка, Елена Ивановна есть моя духовная дочь.

– Запрети же ей принимать у себя этого иностранного развратителя.

Но поп снова представил, как бы не понимает, и побудил владыку точно так же по имени назвать предиканта.

Тогда отец Георгий отвечал, что он такого запрещения сделать не отважится.

– А для какой причины?

– Для нескольких причин, ваше преосвященство.

– Поясните оные.

Отец Георгий стал пояснять.

– Первая моя причина, – говорит, – та, что моего запрещения могут не послушаться, и я тогда буду через то только в напрасно постыждающем конфузе.

– Неубедительно, – отвечал владыка. – Это не что иное как гордость ума. Излагайте другое.

– Другое то, что предиканта того «развратителем» назвать будет несправедливо, ибо он хотя и иностранец, но человек весьма хороших правил христианской жизни и в предикациях своих располагает сердца ко Христу, а никаких церковных сторон не касается.

– Гм, гм! Вон вы как!.. А третье что?

– А третье, осмелюсь буду представить вам, владыко, то, что духу веры православной не свойственно страшиться робко всякого мнения в чем-либо несогласного, а, напротив, ей вполне свойственно похвальное веротерпимство и свободное изъяснение и суждение, как и у апостола на то совет находим: «Все слушать, а хорошего держаться».

Но сей третий довод владыка дослушал с кипящим нетерпением и, скрытно в душе на говорящего негодуя, отвечал:

– Да… То весьма хорошо, что вы мне привели нечто и от апостола… А не приведете ли вы еще чего-либо во изъяснение, по скольким причинам у вас власы главы вашей постоянно кратки и а-ла-мужиком кружат, а назарейской долготы не досягают?

– Не знаю, – отвечал Георгий.

– Не подстригаете ли вы их о молодом месяце?

– Подстригаю.

– Напрасно.

– Я делаю это потому, что многие говорят, будто, если концы волос о молодом месяце подстригать, то от того ращение гораздо шибче бывает.

– Оставьте – это неверно… А я вот сейчас прямо от вас поеду к губернатору, да скажу, чтобы он этого предиканта за хвост да за заставу.

Но отец Георгий, как робости подчинения не приученный, отвечал:

– Опасаюсь, что вы сделаете это напрасно.

– Это почему?

– Потому, что губернатор его за хвост и за заставу выбросить не отважится.

– Это почему?

– Во-первых, потому, что он ничего достойного выгнания не сделал.

– Это ничего не значит.

– Во-вторых, что он хорошего рода и уважения, и чрез то в европейских государствах нам вредные слухи распространены будут.

– И сие мне нимало не важно.

– А в третьих… губернатор сам вчера у Елены Ивановны вечером предиканта, за ширмою сидя, слушал…

Услыхав это последнее, владыка остановился и сказал:

– Так для чего же вы мне об этом последнем с самого начала не сказали?

И с сими словами, вместо того чтобы идти, как прежде намеревал, к выходной двери, перешел с веселым видом в гостиную и на ходу ласково молвил:

– Если так, то и мне наплевать! (Разумеется, презрение сие касалося предиканта.)

Засим владыка кушал чай и мадеру и в доброте своей шутил о деде своем, бывшем дьяконе, который, при введении в моду нового ксересного вина, этой новизне противлялся и ему внушал: «Имей веру – пей мадеру».

Особы духовного происхождения и в светском быту иначе уважаются
Губернатор, предполагая сделать у себя званый для всех лиц обед, передал своему правителю писаный список – кому надлежит послать приглашения. И как губернатор был очень занят делами, то он писал скоро и обозначал лица очень кратко, как-то например: «непремен. члену», «директору», «архирею». А правитель, тоже не менее занятый, и считая, может быть, что надписание приглашений по реестрику есть дело очень простое, поручил это сделать двум канцелярским – одному старшему и уже в чине, а другому младшему, который всего один год служил и чина еще не имел. Молодцы эти были: один из воспитанных светских школ, кузин институтской дамы, которой от губернатора особое почтение оказывано, а другой простой – из семинарии в приказные вышедший. Первый из сих, то есть кузин, обладал значительною легкомысленностию, а второй общепринятою в духовных училищах грубостию. И когда они два оставлены были при своих занятиях, чтобы печатные приглашения надписывать по кратко начертанному губернатором списку, то начали делать это кое-как – так что кузин, имевший плохой почерк руки, только произносил – кому адресовать, а тот простой, что из семинаров, под его диктант четким характером пера надписывал. – И оба они спокойно располагали, что умудрились прекрасно; и, скоро все листки надписав, отдали их верховому жандарму, который склал пакеты в кожаную суму и, надев на руки белые рукавицы,

повез их возить по надписанию. Но надписание сделали как раз так, как губернатор со скоростию черканул в чернетке – то есть, например: «непременному члену», «директору» и «архирею». Так же было надписано и всем прочим, без всякого внимания к их заслугам и полному титулу должности. Так светский кузин диктовал, а грубый семинар, нимало сумняся, надписывал. Светские чины приняли это с тонкой политикой, как бы не заметив, но архиерей по внимательности своей заметил, и хотя, уважая зов губернаторский, в дом к нему приехал, но при возвратной отдаче ему губернатором визита, на прощании с ним, вынул из своего кармана разорванный пакет с краткою надписью «архирею» и обратил его внимание на эту неуважительность.

Губернатор очень сконфузился и извинялся, и говорил:

– Владыко, простите и позвольте мне этот пакет, я все дело исследую и виновника строго накажу.

Владыка отвечал:

– Нет, к чему это? Я таких наказаний не требую, – но пакет отдал.

Губернатор же, приехав к себе в дом, тотчас призвал своего правителя и много кричал: «как это можно сделать, что надписать просто архирею? Разве вам нестерпимое монашеское самолюбие неизвестно? Сейчас мне узнать, кто в этом виновен, и того по надлежащему пункту со службы выгнать!»

Но, услыхав от управителя, что виноват в этом не один, а двое, и именно один кузин его знакомой институтской дамы, – губернатор тот же час первое пылкое решение отменил, а велел обоих виновников самолично представить архиерею, чтобы они просили у его преосвященства в своей ошибке прощения.

Правитель поступил, как ему насчет молодцов велено было; он призвал обоих тех скорохватов и велел им хорошо одуматься и изготовиться, как отвечать, а завтра явиться к архиерею для испрошения себе прощения. – Сам же правитель, явясь ко владыке, тоже в недосмотре своем извинялся и сказал, что оба виновника умаления сана присланы будут для нижайшего прощения. Причем просил, что, может быть, его преосвященство сделает им свою нотацию, чтобы знали, что только для его просьбы их не исключают.

Владыка сказал: «хорошо» и благословил прислать к нему виновников умаления в десятом часу на другой день.

Те и предстали – оба в форменных фраках на все пуговицы, в черных штанцах и причесаны гладко, а не по моде.

Владыка скоро к ним вышел без задержки, благословил обоих и заговорил ласково. Кузину, который только в том виноват был, что диктовал писать коротко «архирею», владыка сказал, что в быстром разговоре это для краткости еще простительно, но с надписывателем, который был из простых, беседовал обстоятельнее, и притом постепенно изменяясь и возвышая.

Поначалу владыка спросил:

– Как вам фамилия?

Тот отвечал: «Крыжановский, ваше преосвященство», ибо ему действительно такая была фамилия.

Владыка заметил, что это фамилия очень обширная:

– Крыжановские есть малороссийцы, есть и евреи, и также из польской шляхты, а также купцы, и дворяне, и низкого звания. – Вы, верно, из поляков? Поляки вежливостью отличны.

– Никак нет, – отвечал Крыжановский, – я не из поляков.

– Из евреев? Есть с образованием.

– Тоже нет, ваше преосвященство: я из малороссиян.

– Эти простодушны. Вы в кадетах обучались?

– Никак нет, – я учился в духовной семинарии.

– Как! – воскликнул владыка, – в семинарии!!

– Точно так, ваше преосвященство.

– Так ты из духовных?!

– Священнический сын.

– Ах ты, бестия в новоместии! Кузин! удалитесь тотчас за дверь.

И когда кузин удалился в другой предпокой, то в ту же минуту услыхал нечто особенное, после чего Крыжановский тотчас же вышел, поправляя прическу, и объявил, что он владыкою прощен совершенно.

Остановление растущего языка
Благо и преполезно будет всякому, как верующему, так же и неверующему, услышать, что в настоящей поре, когда мы живем, рука чудодейственная не токмо не сократилась и силы ее не устали, но наипаче безумие умных и гордость непокорных преданиям плющит и сотирает.

В смежной с нами епархии был один архимандрит, имея уже себе от роду более сорока лет, и славился начитанностию во всех науках и все свое время провождал за книгами. Но хотя при совершенно неохужденном его поведении ему то долго не вредило, но потом он вдруг объявил, что снимает с себя сан ангельский, и священство, и архимандритство и желает в мир простым человеком. Быв же через немалое время увещеваем такие свои намерения оставить, оных не оставлял и даже не хотел иметь в виду того, что свет его может просветиться пред человеки: ибо его впереди может ожидать викариатство и вскоре потом полная епархия, когда благодать духа святого опочиет на нем в преизбытке и чрез возложение рук станет изливаться на многих. Но ко всему этому несчастный оставался непреклонным и даже вопрошавшим его о цели замысла не давал полных объяснений – почему такое ужасное вздумал? Напротив, все ответы его были с обидною краткостию и обличали только как бы его скрытность и лукавство, ибо говорил: «Не могу: ярем, чрез омофор изображенный, весьма свят, но для меня тяжек, – не могу его понести». При напоминании же о том, что совлекает с себя чистоту чина ангельского и опять берет мрачную кожу ефиопа, отвечал:

– Нет, я познал себя, что нет во мне ничего ангельского, а есмь токмо простой человек со всеми слабостями и к таковым же равным мне простым людям жалость сердца чувствую и обратно стремлюся, да улучу с теми равные части как в сей жизни, так и в другой, о коей не знаем.

Тогда пронеслись некие обидные для него клеветы, что будто затем расстригается, что идет в мужья к престарелой вдове купчихе, которой муж его весьма почитал; но он ни на что сие не посмотрел – расстригся и вышел из монастыря весьма тихо и братолюбиво, но только клобук бросил под лавку. Однако и то еще не достоверно и тоже к намерению оклеветать отнести можно. Затем он уехал и стал жить в другой губернии, где никого не имел ни ближних, ни искренних, и тут действительно скоро начал получать многие убедительные письма от дам, которые, странною к нему фантазиею уносясь, предлагали ему сами себя в супружество, не искавши никаких обольстительных удовольствий света, а, напротив, чтобы делить с сим расстригою все, что встретят на пути его дальней смятенной жизни. Враг рода человеческого, диавол, чрез женщин обыкший строить злое, привлекал их к сему приманчивою кротостию его духа, которую тот являл, вероятно, не столь искренно, сколько притворно, но с постоянною неизменностию. И дошло это душевное влечение к его мнимой доброте со стороны особ другого пола до того безумия, что в числе писем, оставшихся после смерти расстриги, было одно от женщины настоящего высокого звания русских фамилий, которая даже называть его прежнего сана не умела и заместо того, чтобы писать «архимандрит», выражалась: «парфемандрит», что ей было более склонно к французскому штилю. Он же так скрепился опровергнуть о нем предположенное, что все эти предложения отклонил и с терпением всякой его искавшей с ласковою мягкостию изъяснял, что будто вовсе не для того монастырь оставил, чтобы ринуться в жажду удовольствий, а хочет простой, здравой жизни по

благословению божию, в поте своего лица и не в разлад с своею верою и понятиями.

И так и в действительности себя наружно соблюдал, живя в мире, точно как бы даже не снял с себя ни одного монашеского обета, – содержал себя на самое скудное жалованье и жил приватным учителем при фабричной школе. Но как он был расстрига, то большого хода ему все-таки не было и почтением и доверием от православных простолюдцев он все-таки не пользовался, особенно в рассуждении преподавания божественного закона и молитв. Да и утверждения он на месте учительском не получал, и впоследствии, для избежания чего-нибудь, вовсе был отказан и придержался границ двух смежных губерний, и перебегал так, что когда его в нашей за учительство ловили, то он спасался бегством в соседнюю, а когда там о нем духовенство светские власти извещало и становой его искать и связать приказывал, то он, спасаясь, опять в нашу границу снова возвращался и здесь опять учил детей не только за всякую плату, но столь своим пристрастием был одержим, что и без всякой платы учил чтению святого письма и наводил мысли на нравственность и добротолюбие.

Так, неизвестно что в целях своих содержав и с ними в беспрерывных бегах с одного места на другое постоянно крыясь, расстрига сей многих грамоте научил и наставил, по видимости, не в худших началах жизни; но, проживая весною в водопольную росталь в каменной сырой амбарушке при оставленной мельнице, заболел, наконец, тою отвратительною и гибельною болезнию, которая называется цынгота, и умер один в нощи, закусив зубами язык, который до того стал изо рта вон на поверхность выпячиваться, что смотреть было весьма неприятно и страшно. И пока ему гроб сделали и его в оный положили, престрашный язык его все рос более вон, и мнилось уже всем, что и крыши гроба на него иначе наложить нельзя будет, как разве оную просверлив и язык сквозь оную выпустив. Но, по счастию для перепуганных сим посельчан, случился к той поре на селе некий опытный брат, приезжий из недальней обители за нуждою монастырскою. Тот, увидев сие, покивал головою и сказал: «Брате, брате! Чего доспел еси!» И, обратясь, молвил: «Видите, яко есть бог и он поруган не бывает».

Крестьяне отвечали: «Видим», – и просили: «Аще ли твоему благочестию возможно есть, то помоги, отче!..»

Он же спросил:

– А что ми хощете дати?

Они же отвечали:

– Что сам потребуешь, – все пожертвуем: только много не спроси, ибо худы есьмы и многого не имеем.

Брат же спросил только постного угощенья по силам и денег, сколько надобно на устроение новой камилаухи с воскрылиями. Крестьяне сказали: «Это – согласны».

Тогда брат, сняв с своей камилаухи ветхие, порыжелые воскрылия, вверг их в гроб и покрыл совершенно лице мертвого, сказав: «Приими то, от чего сам неразумно отпал». И ращение обличавшего расстригу языка его в ту же пору стало невидимо и прекратилось, и гроб, по благословению брата, был предан земле без необходимости сверления крыши, и поучительный случай сей везде старанием брата распространился, и темные крестьяне получили полезный урок – сколь доверие детей своих таким доброхотам, как сей расстрига, не безопасно.[1]

Острых вещей в дар предлагать не следует

Помещик, граф и князь Талагай Боруханов, быв большими с собою друзьями, часто вместе с егарем на охоту в ржавые, рамедные болота ездили и далеко в глубь разных полных дичиною мест увлекались. Случилось же им однажды приплутать к весьма протяженному болоту в сильном утомлении и поместиться для принятия пищи и ночлега у бедного сельского священника, который был тут в находившемся поблизости храме. Тот, узнав, каковых лиц в числе сих своих внезапных гостей принимает, засуетился и забегал и матушку попадью свою начал в боки поталкивать, чтобы о всяческих для них удобствах заботилась, и, толкая, повторял: «Да ну ты, мати, поворачивайся! Да ну ты, скорей самоваришку дуй! Да ну, топёжку топи да лепешку три». Но как пришедшие охотники сами имели при себе все лучшие закусочные предметы и ни в каких снедях простого грубого, сельского, домашнего приготовления не нуждались, то они, видя суету попа и попадьино бедствие, чтобы

утишить их хлопоты, стали их успокоивать и говорить:

– Пусть мы вам ничем никакого беспокойства не приносим, ибо решительно все нам нужное при себе и при егаре нашем в сумках имеем, и не желаем ничего, окромя одного самовара, да еще острого ножа, ибо свой аглицкий нож сломали при желании нарезать ломтиков для закуски от сильно спрессованной охотничьей конигсбергской колбасы. А еще, – сказали, – просим и вас самих, батюшка, сюда к нам войти и присоединиться и вместе с нами, пока самовар взогреется, выпить рюмку полезного и здорового голандского джину, который здесь в нашей фляге.

Священник поначалу благородно отнекивался, но потом, ободренный, принял и, по усердию угощавших, остался с ними сидеть при чае и на приглашение не церемониться стал вести себя откровенно, как с равными, и в разговоре голандский джин, отбивавший во вкусе своем мозжухой, даже критиковал, не находя его превосходнее высочайше утвержденного доброго русского пенного вина. И беседа шла превосходно, но когда егарь достал и подал к закуске твердого свойства конигсбергскую охотницкую колбасу, на которой собственный их аглицкий нож изломался, то священник изнес им из-за перегородки свой особливый ножик и сказал:

– Этот хотя не аглицкий, а простой русский, но он все отрежет и не сломается.

И действительно, поданный бедный, много уже, почти до самой спинки, сточенный ножишко так и чекрыжил ту плоскую и крепкую конигсбергскую колбасу, отрезая ее самотончайшими стружечками.

И когда при этом содействии все закусили, то граф стал шутливо этот нож хвалить и сказал, что этот русский инструмент их бывшего английского гораздо превосходнее и что, если бы он знал, где такие продаются, то и себе бы непременно такой купил и, в Петербург возвратясь, в мануфактур-совет, для испрошения медали, представил.

А священник хотя и знал, что острых вещей дарить нельзя, но, желая быть вежлив и почитая то за предрассудок суеверия, сказал:

– Пожалуйте, ваше сиятельство, не погнушайтесь – этот ножичек от меня примите, ибо он мне теперь уже за окончанием пашни и жнитва более не нужен, а вам он в дальнейшем вашем полевании еще пригодиться может.

Граф же поначалу не хотел взять, но потом, вероятно намеревая в уме чем священнику отплатить, этот его преострый нож принял и, рассматривая оный, любопытствовал:

– Что вы им, батюшка, при полевых работах делали?

А священник отвечал:

– При полевых работах мы им, ваше сиятельство, ничего не делали, ибо затуплять его не хотели; а давно его бережем для того особливого дела, что когда, совсем отработавшись, я этим ножиком себе и своей попадье в теплой бане отмягшие мозоли обчищал.

После чего граф нож бросил и не принял и всю жизнь свою о быте сельского духовенства с пренебрежением думал.

Преусиленное стеснение в темное время противное производит
В двуштате церковного причта, с ним же предстоял, работая господеви, отец Павел, не было ни одного из наималейших к нему расположенного за его всегдашнее перед всеми превозношение. Всех он задевал разумом, который не скупо даровало ему всещедрое провидение и которым он распоряжал стойко и самовито, но, думается, как бы не всегда ко единой славе Создавшего, а нередко и к утешению своей неодоленной надменности. Ни со вторствующим коллегою у олтаря, ни со диаконом, на оба штата упадавшим, отец Павел, вопреки инструкции благочинницкой, никогда не хлебосольствовал и сам к ним в дома не входил, ни к себе их не звал; а из всех чтецов и певцов на свою долю отобрал одного, долгого роста и самого смирного нрава, причетника Порфирия, коего и глаза и за глаза называл «глупорожденным». Но, несмотря, что сей читал трудно и козелковато, а пел не благочинно лешевой дудкой, – отец Павел только его одного, сего комоватого

Порфирия, и брал с собою, когда надобилось в приходе, но, по обычаю своему, и с ним обращался начальственно и пренадменно, так что, например, никогда не сажал его с собою рядом ни на сани, ни на присланные дрожки, а не иначе как на облучок впереди или стоять на запятки сзади, отчего при сильном на ухабах сотрясении легко можно оторваться и упасть или обронить содержимые в связке служебные ризы и книги. А буде и так поставить или посадить Порфирия было невозможно, то отец Павел, мня ся быти яко первым по фараоне, тщился сесть широко один вместо двух, а сего своего сладкопевца вперед себя посылал пешком упреждать, что грядет иже первый по фараоне. А если случалось когда им обоим пешим следовать, то шли так, что отец Павел подвигался шествуя передом, а Порфирий не отступал сзади, и притом непременно в самоближайшем за его спиною расстоянии – ни за что не далее как на один шаг, дабы никто не мог подумать, что сей «глупорожденный» сам собою по своей воле прохаживается, а не следует в строгом подчинении за первым по фараоне, проходящим по служебной надобности. Тогда все, видя сей преусиленно дисциплинный маршрут, не раз удивлялись ему, и одни говорили: «Вот подобрал себе человека, какого ему надобно»; а другие отвечали: «Да, сей не возопиет, нижй возглаголет». Но вместо того именно не кто иной, как сей-то удобшествеяный Порфирий, и воздал ему такое даяние, которое при неожиданной мимолетности своей не устраняло весьма поучительного значения, имевшего, быть может, первое остепеняющее впечатление на самовластный характер отца Павла.

Быв позван осенью в постный день недели в дом усердного прихожанина, но не весьма богатого торговца, окрестить новорожденное дитя, отец Павел прибыл и исполнил святое таинство при услужении Порфирия и сейчас же хотел отправить его отсюда одного в оборот назад с купелью. Но торговец, быв хлебосол и гостелюбец, вызвался отослать купель в церковь с лавочным молодцом, а Порфирия просил оставить и дозволить ему напиться чаю и выпить приготовленных вин и закусить.

Отец Павел был в добром расположении и позволил себя на это уговорить и, усмотрев в этом даже для него самого нечто полезное, сказал:

– И вправду, пускай сей мудрец здесь останется и что-нибудь полокчет – ныне ночи осенние стали весьма темны – и мне с ним будет поваднее идти, нежели одному.

Говоря же так, разумел не воров и разбойников, ибо все его знали и никто бы не дерзнул сдирать с него лисью шубу и шапку, но собственно для важности иметь при себе провожатого.

Угощение же им было предложено хотя и усердное, но неискусное, – особливо ломти не весьма свежей привозной осетрины поданы поджаренными по-купечески с картофелью на маковом довольно пригорьковатом масле – от чего почти у всех неминуемо делается душеисторгающая изгага и бьет горькая, проглощенную снедь напоминающая, слюна.

То же случилось и непостерегшемуся отцу Павлу, который очень этим угощением остался недоволен и даже не утерпел – по своему пылкому обычаю хозяевам строго выговорил:

– Дитя, – сказал, – вы крестите и, призвав священника на дом, дворянским обычаем, – удерживаете его к закуске, а не могли позаботиться о свежем маковом масле… Вот я поел, и у меня будет горькая слюна и изгага.

Хозяева его очень просили их простить и приводили для себя то оправдание, что они везде искали самого лучшего масла, но не нашли, а на ином, кроме макового, для духовной особы в постный день готовить не смели.

Но как они хотели воспрепятствовать изгаге, то просили отца Павла принять известное старинное доброе средство: рюмку цельного пуншевого рому с аптечными каплями аглицкой мяты-холодянки. Отец Павел и сам знал, что это преполезное в несварении желудка смешение всегда помогает и, в знак того, что часто заставляет отупевать боли, прозвано у духовных «есмирмисменно вино».

А потому, дабы избавить себя от неприятного, сказал: «хорошо – дайте», и рюмку этого полезного есмирмисменного смешения выпил, и поскорее вздел на себя свою большую рясу на лисьем меху и шапку, и, высоко подняв превеликий воротник, пошел в первой позиции, а Порфирий шел за ним, как ему всегда по субординации назначено было, в другой степени, то есть один шаг сзади за его спиною.

Но когда они таким образом проходили улицею в темноте по дощатому тротуару, под коим сокрыта канава, то отец Павел вскоре стал чувствовать, что пригорьковатое масло, возбуждаясь, даже мяту-холодянку преосиливает и беспрестанно против воли нагоняет слюну. Тогда отец Павел, естественно пожелав узнать, не происходит ли это у него от одной фантазии его воспоминаний, желал себя удостоверить: он ли один себя так ощущает, или же быть может, что и Порфирий, у которого нет дара фантазии, и тот тоже не лучшее терпит.

Подумав так, отец Павел крикнул, не оборачиваясь:

– Порфирий!

А тот, усугубясь, чтобы в такту попадать за его шагом, скоро отвечал:

– Се аз здесь, отче!

– Скажи мне, терпишь ты что-либо на желудке?

– Нет, ничего не терплю.

– Отчего ж ты не терпишь?

– Я имею желудок твердого характера.

– О, сколь же ты блажен, что твое глупорожденье тебя столь нечувствительным учиняет!

А Порфирий этого намека не разобрал и говорит:

– Не могу понять этих слов, отче.

– Ты ел осетрину?

– Как же, отче, благодарю вас, – хозяйка мне с вашего блюда отделила и вынесла. Рыба вкусная.

– Ну вот, а я в ней масляную горесть ощущал.

– Горесть на душе и я ощущал.

– Да, но я ее и теперь еще ощущаю.

– И я тоже ощущаю.

– Она мне мутит.

– А как же: и меня на душе мутит.

– Да, но отчего же я сплеваю, а ты не сплеваешь?

– Нет, и я тоже сплеваю.

– Но через что же это, как я сплеваю, я это слышу, а как ты сплеваешь, это не слышно?

– А это верно оттого, что вы передом идете.

– Ну так что̀ в том за разность?

– А вы просторно на тротуар плюваете, где люди ходят, и там на твердом плювание слышно.

– Да. А ты?

– А я, как за вами иду, то, простора не видя, вам в спину плюваю – где не слышно.

– Как!

Порфирий снова возобновил то, что сейчас сказал, и добавил, что его плювания потому не слышно, что у предъидущего отца Павла в меховой его шубе спина мягкая.

– Каналья же ты! – воскликнул отец Павел. – Для чего же ты смеешь плевать мне в спину?

– А когда я так следую за вами, то иначе никуда плевать не могу, – отвечал препокорный Порфирий.

– Глупец непроходимый! – произнес тогда отец Павел и, взяв его впотьмах нетерпеливо за шивороток, приказал идти впереди себя и наказал никому об этом неприятном приключении не сказывать.

Но Порфирий, боясь грядущего на него гнева, стал от всех выспрашивать мнения насчет своей невинности и для того всем рассказал, как было, и все, кому отец Павел много в жизни характером своим допекал, не сожалели о том, что учредил над ним в темное время Порфирий, а наипаче радовались. Так сей бесхитрый малый без всякой умышленной фантазии показал, что, поелику всяк в жизнь свою легко может хватить у людей масла с горестию, то всяк и в таком нестеснении нуждается, дабы мог мутящую горесть с души своей в сторонку сплюнуть.

Простое средство

Как от совокупления сливающихся ручьев плывут далее реки и в конце стает великое море, брегов коего оком не окинуть, так и в хитростях человеческих, когда накопятся, образуется нечто неуяснимое. Так было и с сим браком.

Меж тем как бригадирша прикрыла хитростями удальство своего сына, тот удалец с мнимою своею женою, о коей нельзя и сказать, кому она определена, прибыл в столицу и открылся в происшедшей тайне сестре своей и нашел у нее для Поленьки довольное внимание, так что и родившееся вскоре дитя их было воспринято от купели благородными их знакомцами и записано законным сыном Луки Александровича и Поленьки и в том дана выпись.[2] Потом же рождались у них и другие дети и тоже так писаны, а потом на третьем году после того бригадирша отошла от сея жизни в вечную, и Лука с сестрами стали наследниками всего имения, и Лука Александрович с Поленькою приехали в имение и духовенству построили новые дома и жили бластишно, доколе пришел час отдавать их сына в корпус и дочь в императорский институт. Тогда стали нужны метрики, и в консистории их дать не могли, потому что брак писан по книгам не на помещика Луку Александровича, а на крепостного Петуха. И тогда, в безмерном огорчении от такой через многие годы непредвиденной неожиданности, Лука Александрович поехал хлопотать в столицу и был у важных лиц и всем объяснял свое происшествие, но между всех особ не обрелося ни одной, кто бы ему помог, ибо что писано в обыскной книге о браке Поленьки с крепостным Петухом, то было по законным правилам несомненно. И он, по многих тратах и хлопотах, возвратился в свой город и стал размышлять, что учинить, – ибо, если он отпустит Петуха на волю, то Петух может чрез чье-либо научение требовать жену и детей, а иначе крепостных детей в благородное звание вывесть нельзя. И был он опять в смущении, потому что никто ему в его горе совета не подал.

Но когда совсем исчезает одна надежда, часто восходит другая: ввечеру, когда Лука сидел один в грустной безнадежности, пришел к нему один консисторский приказный, весьма гнусного и скаредного вида и пахнущий водкою, и сказал ему:

– Слушай, боярин: я знаю твою скорбь и старание и вижу, что из всех, кого ты просил, никто тебе помочь не искусен, а я помогу.

Лука Александрович говорит:

– Мое дело такое, что помочь нельзя.

А приказный отвечает:

– Пустое, боярин. Зачем отчаиваться, – отчаяние есть смертный грех, а на святой Руси нет невозможности.

Но Лука Александрович, как уже много от настоящих лиц просил советов и от тех ничего полезного не получал, то уже и не хотел того гнуснеца слушать и сказал ему:

– Уйди в свое место! Где ты можешь мне помочь, когда большого чина люди средств не находили.

А приказный отвечает:

– Нет, ты, боярин, моим советом не пренебрегай, большие доктора простых средств не знают, а простые люди знают, и я знаю простое средство помочь твоему горю.

Тот рассмеялся, но думает: «Попробую, что такое есть?» – и спросил:

– Сколько твое средство стоит?

Приказный отвечает:

– Всего два червонца.

Лука Александрович подумал:

«Много уже мною потрачено, а это уже не великая вещь», – и дал ему два червонца.

А на другой день приходит к нему тот подьячий и говорит:

– Ну, боярин, я все справил: подавай теперь просьбу, чтобы не письменную справку читали, а самую бы подлинную книгу потребовали.

Лука Александрович говорит:

– Неужели ты, бесстрашный этакий, подлогом меня там записал! Что ты это сделал? И я через тебя в подозренье пойду!

А подьячий отвечает:

– И, боярин, боярин! Как тебе это могло в голову прийти! Ум-то не в одних больших головах, а и в малых. Не пытай, что я сделал, а проси книгу и прав будешь.

Лука Александрович подумал, что много уже он средств пробовал – отчего еще одно не попробовать, и подал, чтобы вытребовали из архива подлинную книгу и посмотрели: как писано? А как была она вытребована, то объявилось, что писано имя «крестьянин Петух», но другим чернилом по выскобленному месту… А когда и кто это написал, и что на этом месте прежде было, – неизвестно.

Тогда сделали следствие и стали всех, кто живые остались, спрашивать: с кем Пелагея венчана, и все показали, что с Лукою Александровичем, а Петух стоял в стороне, и браку было утверждение, и доселе мнимые Петуховы дети получили дворянские права своего рода, а приказный никакой фальши не сделал, а только подписал в книге то самое, что в ней и вычистил. То было его «простое средство».

Скорость потребна блох ловить, а в делах нужно осмотрение

Туляк один, постригшись на Афоне в монахи, прослыл в делах прошения великим искусником и, быв отпущен в Россию за сбором со святынею, вдруг захотел прежних своих предшественников сразу прострамить и превзойти в добыче. Для этого он, входя в дома благочестивых людей со вверенною ему святынею, с маслом и с бальзамом, с травками и с сухими цветками, всегда смотрел полезного и, замечая благосклонных людей, в благосклонность их вникал и просил о жертвах и записях. Усмотрев же так одного купца, страждущего в водяной болезни при смерти, он стал ему помогать святынями и склонил его, чтобы он, тайно от домашних, до полу своего состояния особым завещанием отписал на Афон, и тогда там вечно за него будут молиться. Тот, быв в немощи, согласился, но и сам просил, чтобы дети его до кончины не знали. Тогда инок послал своего подручного взять из черного трактира трех штатских особ, которые без занятий в нужде и поглупее; одел их в черные халаты и колпаки, дал по два рубля и повел с собою в виде новоприбывших с Афона с пополнительною святынею. Придя же к болящему, вынял из рясы приуготовленное завещание с отписанием пожертвования на Афон и дал его подписать больному, а сам в это время стоял и смотрел в двери, дабы не взошли невзначай жадные к наследству родственники сего миллионера. И когда купец подписался, туляк, не оставляя смотреть в двери, сказал одному штатскому: «выставь скорее

теперь ты свою подпись свидетелем». Тот написал: «Вечного цеха Иван Болванов». Тогда другой спросил: «Мне что писать?» – «Пиши, – говорит, – скорее и ты то же самое»,– и тот взял перо и написал то же самое: «Вечного цеха Иван Болванов», а потом и третий спросил: «А мне что писать?», а инок и этому еще торопливее: «Пиши то же самое». И когда этот тоже написал «Вечного цеха Иван Болванов», то завещание скорее спешно запечатали купцовым перстнем в пакет и, заперев в его стол, отдали больному ключ и ушли с миром. Но когда купец вскоре умер и завещание с отписанием на Афон было найдено, то оно никуда через ту опрометчивость не годилось, потому что все три свидетеля разными характерами прописали однако Ивана Болванова, которого и разыскать было невозможно, ибо имя тому штатскому было Богданов, а Болванов он написал по описке пера, а другие два ему в том последовали.

Стесненная ограниченность аглицкого искусства

Секретарь консистории, достигая себе орден, коего хотел, сообразил, что по отъезде иностранного предиканта у многих простого звания людей, кои в прежде прошедшей жизни никогда евангелия не читали, появилися в руках книжки Нового завета, и книжек тех было весьма изобильно, и хотя под каждою из оных было подпечатано обозначение выхода их из духовной типографии, но секретарь возымел беспокойное сомнение, что те книги произведены в типографии в Лондоне, а выход российский им обозначен обманно, собственно для подрыва доходов православного ведомства в России.

По даче же такому извету хода для дознания его справедливости к губернатору, сей последний призвал к себе из губернской типографии главного справщика, происхождением немца, и, сказав ему о возбужденном подозрении, предложил: не можете ли дать на сей предмет сведущего разъяснительного заключения.

Тогда тот типографский мастер попросил, чтобы ему показали книжку Нового завета, на русском языке отпечатанную в аглицкой типографии в городе Лондоне. Когда же требуемая книжка была разыскана и ему подана, то он положил оную рядом с одною из тех, которые раздавал отбывший предикатор и сослужащие его мироносицы, и долго с немецкою аккуратною неспешностию обе книжки в разных отношениях тиснения, справки и бумаги между собою сравнивал и, наконец, объявил все подозрение секретарево неосновательно.

– И можете ли же вы в том мне под ответственностию своею заручиться? – спросил губернатор.

А немец ответил:

– Могу.

– Но по какому основанию?

– По сравнению всего общего непохожего вида и отдельных частностей, из коих мне и всякому понимающему типографское дело в несомненности ясным является, что английское общество сколь бы ни стремилось всеми силами к тому обману, чтобы подделаться к законному русскому изданию, с установленного благословения изданному, никак того достичь не в состоянии.

– А почему?

– Потому, что там с такими грубыми несовершенствами верстки и тиснения и на столь дурной бумаге уже более двухсот лет не печатают.

Такое заключение, показавшись губернатору вполне убедительным, склонило его дать владыке успокоительный ответ, что оподозренные секретарем книжечки должны вне всякого подозрения почитаться, и секретарь себе к получению ордена других предлогов был должен отыскивать.

Стойкость, до конца выдержанная, обезоруживает и спасает

Отец Павел, имев двух дочерей, дабы не быть вынуждену передавать за ними зятьям места, рано преднамерил этих девиц просветить к светскому званию; и он, быв законоучителем в благородном институте, то и ту и другую из них там бесплатно воспитывал, а когда их срок учения там вышел, то он их взял в дом, купил фортепьяно и пошил к лицу им шедшие уборы, и через их образование и свою предусмотрительную ловкость и заманчивые, но неясные в загадочных словах

обещания, обеих их без приданого замуж выдал – одну за столоначальника в дворянском собрании, а другую за помещика, который имел много волнистых и тучных овец и этим в губернии славился. Отец же Павел зятя столоначальника считал ни во что, но тем овцеводом был горд и любил превозноситься. Случилося же однажды ему сойтись в институте у инспектора и играть в карты с приезжим из чужой губернии помещиком, так же, как и зять отца Павла, большим овцеводом, но еще более превеликим хвастуном, и во время сдачи карт пошли между них перемолвки о том: где какой наилучший вывод овец более славится. Помещик-хвастун стал похваляться, что будто во всей России ныне только у него самые лучшие овцы.

– А почему так? – вопросил отец Павел.

– Потому, – отвечал помещик, – что мои овцы носят у себя в хвостах допуда сала.

– Это хорошо, – сказал отец Павел; но добавил, что у его зятя овцы, однако, знаменитее, ибо те имеют в своих хвостах каждая более чем по пуду.

– Да, – отвечал помещик, – и я к вам склоняюсь: можно иметь овец и более чем по пуду содержащих, но я говорил только разумея у себя одних молодых овец, а старшие же у меня имеют по два пуда.

– И это вполне статочно, – сказал отец Павел, – но ведь и я говорил только о средних овцах моего зятя, а которые у него самые старшие, те имеют в курдюках по три пуда.

– А мои самые старшие по четыре.

– Ну вот еще чего скажи! – негодуя, заметил отец Павел.

А тот в азарте своем, не постигнув ясно отца Павлова возражения, вскричал:

– Как это чего? Разумеется, сала!

– Ага! То-то и есть, – отвечал отец Павел, – а у овец моего зятя не сала, но воску!

Тогда у всех игравших сделалось на минуту недоумение, а помещик воскликнул:

– Это почему воск?

А отец Павел, выходя против него с затруднительной масти, ответил:

– А потому, что он женат на девице духовного звания, а духовенство более с воском, чем с салом обращается.

И бросил ему такую карту, которую тот и покрыть не мог, – и совершенно проигрался.

Счастливому остроумию и непозволительная вольность прощается
Регент архиерейского хора, быв большим красиком, так в переплете любовных историй от приезжавших ко всенощной дам запутался, что часто по пропетии «Слава в вышних богу» с хор утекал или с направлявшимися к выходу женскими особами глазами перемигивался, но владыка, любя его хорошее регентство и приятный тенор-бас, а о соблазнах женских знать не желал, то и том регенте, что ему много докладывали, ничему не верил, и чрез то довел его до такой уже слабости, что регент на масленице перед самым началом поста, допустив одной богатой и роскошной вдове увлечь себя без спроса в неизвестное место, которое потом оказалось ее отдаленным имением, где они двое без детей ее и пост встретили, и регент там чрез многие дни на попечении ее оставался. Тогда уже и сам владыка в благоповедении своего регента, которого оправдывал, усумнился, но управлению же хором никого более достойного не было, и тогда один иеромонах Феодосий, быв отцу Павлу по семинарии товарищ и даже нарицаяся друг, но не верный, и втайне зложелатель, ибо много осмеяния от острого отца Павла ума перенес, ухищренно помянул владыке, что отец Павел превосходно ноту знает и в давнее время при прежних архиереях хором управлял. Владыка обрадовался и, скоро послав за отцом Павлом, стал ему излагать:

– У меня, – сказал, – большое и неожиданное затруднение, и ты мне помоги.

– В чем такое? – вопросил, как бы ничего не ведая, отец Павел, а между тем отлично все ведал и от пришедшего за ним посла за малый дар все расспросил и ответ обдумал, так чтобы все кругло было и отцу Феодосу со шпорою.

Архиерей же просто говорит:

– Я тебя очень прошу: стань, пожалуй, вместо регента до его отыскания. Ныне поют «Покаяния двери» и без руки путают.

Отец же Павел рассудливо соображал себе: добре! стану я его певчим рукою кивать за одно его ласковое внимание, а если откажусь прямо, то за долг подчинения приневолить может, а вещественного ничего не даст: на первой же неделе поста после всех чувств от масленичных излишеств ко всем духовным отцам притекает самый усердный исповедник, который грех безумия своего помнит и священнику не очень скупится. Отец Павел этой пастырской практики решиться не захотел и, пойдя на отыгрыш остроумием, отвечал:

– Нет, владыко, не примите за грубость, – я этого не могу.

– А для чего так?

– Стар стал и не сдействую.

– Неправда, – сказал архиерей, – мне отец Феодосий сказывал, что ты в сем году на Петра и Павла у себя на именинах в саду всем весело распевавшим хором управлял.

– С той поры, владыко, ухо у меня болело и слуху не стало.

– А неправда твоя: отец Феодос говорит, что ты всегда слух к пению имеешь склоня и чуть ошибку поющих услышишь, на то головою киваешь.

– Все это, владыко, уже прошло, и слух мой отупел, и я его к пению не склоняю.

– А для чего же отец Феодосий говорил, что еще склоняешь?

Но тогда отец Павел, много раз именем своего тайного ненавистника уколотый, сам ему отплатил и с обычною остротою и смелостию своего ума так ответил:

– Что и недавно, владыко, было, но ежели ныне уже не есть, то и не пишется в реестр, а если вы не сочтете, владыко, за грубительство, то я вам против моих слов живое и неопровержимое доказательство могу представить на самом том превелебном отце Феодосии. Слышал я и несомненно тому верю, да и вы поверить изволите, что он свою чистую и святую главу к женским персям склонял и устами припадал, но ныне, мню, ни за что того не сделает.

Владыка, распалясь в негодовании, вскричал:

– Я этому не верю и тебе повелеваю не верить.

А отец Павел отвечал, что он не верить не может, ибо читал и учил, что даже явленные миру святые, чудесами просиявшие, в детской поре к грудям своих матерей припадали и млеко из оных сосали, кроме токмо сред и пятков и других постных дней. А для того неосужденно думает, что и отец Феодосий, кроме сред и пятков и других постов, церковью установленных, сосать грудь матери своей был обязан.

Владыка смягчился и заметил:

– Если так, то все быть может!

Удивительный случай всеобщего недоумения

Священник смирного, но втайне самолюбивого нрава, овдовел на седьмом году своего супружества и, высшее в судьбе себе назначая, воздержался мелких забот о жизни и воспитании оставленных ему женою малолетков, а избрал иной путь, его достойный, и для того оставил детей на попечение тещи, а сам благословился у владыки и пришел в обитель искать иноческого чина. Но игумен обители, старец благочестивый, приходящих из духовного звания не любил, ибо находил скромности и

послушания гораздо больше в простых и неученых людях, и сказал новоначальному: «Поживи сначала так и посмотри еще, можешь ли все понести». Новоначальный же брат выслушал это смирно и остался в отведенной ему келии, а для надзора за ним и полезного руководства учрежден нарочито опытный инок, высокой жизни, и тот, через три дня по поступлении упомянутого новоначального, стал замечать за ним странность в непомерной томности его лица и в упадке впалых глаз и всем осунувшемся выражении. Но тот благочестивый старец, как многоопытный в жизни, примечал, что у вдовцов часто в обители такое мрачное расположение духа приходит от воспоминаний пищи и домашних радостей прошедшей обеспеченной жизни, но однако, сколь сие ни сильно, но при желании духовных достигнуть в каждом разе высшего себе сана скоро препобеждается и проходит. Только в этом случае все несколько иначе продолжалось и с бо́льшим ожесточением. Так, брат, которому поручен был новоначальный, надзирая за ним в свою противную дверь, усмотрел, что тот ночною порою, коль скоро все в обители улягутся, как бы ужаленный страстью, из кельи своей выбегает и, содрогаясь, тихо стонет, а потом целые ночи не спит и в келью не возвращается, а, побегав но галерейке, становится у стекол и, прислонясь к оным лбом, глядит вдаль на кресты и памятники окружающего кладбища. Опытный брат еще более утвердился, что новоначальный скучает об усопшей своей жене и вопиет к земле о возвращении. Когда же заметил, что это, не прекращаясь, все продолжается, то, приотворив свою дверь, сказал ему:

– Это нехорошо, брат! Для чего ты стоишь в галерее? Иди, помолись и усни в твоей постели.

А тот отвечал:

– Не могу.

И открылся, что, с тех пор как перешел из своего дома в обитель, уже одиннадцатые сутки уснуть не может. А опытный брат ему отвечал:

– Послушай меня в том, чем я тебя могу пользовать моим советом: походи ты на ночь подольше по воздуху и, возвратясь в келью, съешь как можно больше черного хлеба или крутых ржаных блинов с вареным маслом до сытости и тогда ляжь, ни о чем не думай, кроме проносимых над головою твоею облаков. Пища черного хлеба на ночь и представление облаков весьма сильно на отдых позывает и дает сон, и ты непременно уснешь, как скоро так сделаешь.

А как брат этот был добр, то сам принес новоначальному целую половину мягкого ржаного хлеба, и тот все съел; но как ни старался лежать, представляя себе проносящиеся облака, однако, внезапно сорвавшись с постели, опять выбежал на галерею и провел на ногах двенадцатую ночь, глядя на кладбище.

Тогда опытный брат, видя, что в новоначальном даже ржаное зерно не спит, сказал игумену, и к неспящему брату был прислан монастырский врач, инок из старых морских лекарей, который знал лечение, как следует по монастырской жизни, и всякому из братии помогал при употреблении постной пищи и не обнаруживая нескромной пытливости насчет причин, ибо все бывает от воли божией.

Сейчас же он дал неспящему росные кропли и сказал: «Прими и будешь спать крепко», и тот принял, но опять не заснул нимало. Тогда врач-инок на другую ночь пустил ему в рюмку воды усыпительного опиому и велел проглотить; но сна даже и от этого опять не было, напротив же, новоначальный от того будто стал бредить и водить глазами, с остолбенением, в потолочную точку.

Видя это, врачующий брат посадил его на скамью и, дав ему в левую руку длинную палку от подметальной щетки, велел держать оную и перебирать по ней перстами как можно дробнее и почаще; а сам обнажил ему руку по самое плечо, стянул оную столь крепко ремнем, что все жилы натянулись как дратвы и, ухватив самую сильно напрягшуюся жилу, просекнул ее острием ланцета, отчего кровь в ту же минуту бросилась вверх ручьем, и ударила, и полилась в медный тазик. Когда же крови было спущено столько, что острота вида в глазах пользуемого утишилась и он с потолка опустил глаза к полу и стал как бы засыпать и со скамьи клониться, то братия его взяли под силу, и положили в постель, и вышли, заперев дверь до утра. Но поутру застали его опять стоящего на ногах и говорящего уже совсем невнятным языком.

В таком случае, почитая его поврежденным в рассудке, отправили его в городскую

больницу, где светский лекарь, расспросив что и как было и чем пользовали, стал врача-инока порицать и над кроплями из росного ладана смеялся, а раскрыл перстами веки больного и, по рассмотрении измененных его зрачков, сказал, что по нынешней науке, которая от старого времени вперед большие шаги сделала, причину всякой болезни можно открыть не иначе, как чтобы всего человека разложить вдоль и пристукать и подслушать. Тогда все верно окажется.

И, положив болящего, начал его пристукивать руками и подслушивать ухом, и сказал, что понял все, что в нем происходит, и сейчас же велел старшему фельдшеру, какую над ним надписать латынскую болезнь. Потом же приказал посадить болящего брата в теплую ванну, и после, выняв оттуда, дать ему выпить лекарство, какое следует по новой науке, и положить в постель. Но как только новоначального брата раздели и он в теплой ванне согреваться начал, то там же, несмотря на все удержания, сейчас заснул, так что лекарства ему уже дать не могли, а, надев на него на сонного белье, положили в постель, и он все спал, как младенец, и проспал таким манером целые трое суток, и как возбудить его было невозможно, то уже думали, что он умер и не проснется. А на четвертый день он сам проснулся в третий звон о заутрени и был здоров так, что даже румянец в нем заиграл на щеках, и он попросил себе пить чего-либо кислого, но ему дали чаю с белой булкой, а в тот же час фельдшера побежали за всеми старшими и младшими докторами, которые приказали их немедленно известить, коль скоро столь удивительный больной проснется, ибо о сне его и о прежде бывшей бессоннице они все хотели сочинения писать и в медицинской ученой газете печатать.

Все доктора, как старшие, так и младшие, пришли скоро и опять больного пристукали и подслушали, а потом стали любопытно расспрашивать: сколько ему от роду лет и какого он звания?

Тот отвечал правдиво и явственно.

– Не было ли у вас когда-либо прежде до сего случая продолжительной бессонницы и потом очень долгого сна?

Он отвечал, что бессонницы у него до прихода в обитель никогда прежде не было, а напротив, всегда имел сон, как должно.

Тогда спросили опять: какие он имел перед сим беспокойные страсти или сожаления? Но он отвечал, что никаких страстей и сожалений не имел, ибо смерть жены его есть воля божия.

– Чему же вы приписываете, что вы в вашей келье целые четырнадцать ночей уснуть не могли?

– Ничему иному, – отвечал брат, – как несметному изобилию неисчислимых в той келье клопов.

Тогда старшие и младшие доктора, переглянувшись друг с другом, велели снять с кровати латынское надписание обозначенной ему болезни, и сочинения о бессонии его не писали, а брат вернулся в обитель и за свое терпение и послушливость заслужил большое расположение, которое немало содействовало ему достойную ступень достигнуть.

Чужеземные обычаи только с разумением применять можно

Князь Г., возвратясь после продолжительного пребывания в чужих краях, привез с собою духовного студента, который там пять лет находился для русских наук при его детях, и, желая его вознаградить за старания, просил владыку поставить того студента во священники, с назначением на хорошее место в городской приход. Место же это назначалось достойнейшему, но владыка, уважая род князя и его могущественные связи в Петербурге, весьма мало просьбе его за того учителя возражал и согласился. И потому, призвав одного из соборных иереев, имевших в возрасте дочь, велел ему, ничего не рассуждая, дочь за того студента выдать и место передать зятю. Иначе же угрожал ему своею строгостию. Священник покорился своей судьбе и воле владычней: дочь выдал, и от места отказался, и пошел в заштат на кладбище, а в его место в соборе стал упомянутый выше зять его из княжеских учителей и нарекся «отец Григорий». Он был в служенье хорош и весьма способен, но католиковат, и то было в нем заимственное, так как это и во всей набожной семье самого князя обличалося, да и удивляться нечему, потому что отец Григорий встречался за границею с католическими патерами, и о вере их с ними

много рассуждал, и многое что находил у них то нехудо, то посредственно, и некоторое даже почитал за превосходное и достойное восприятия. Так, например, рассуждал он об исповеди, внушая, что испытание совести должно будто производить не одним посредством расспроса о том: каким грехом человек согрешил, но дополнять и обнимать: почему именно и как согрешил, при каких обстоятельствах, и сколько меры в себе самом и во всех условиях находил для того, чтобы твердо устоять в добродетели и не поддаться пороку. А для убеждения указывал на все – на философию, на рассуждения и на несовершенные человеческие суды, и сравнивал – как они повелись в чужих странах, где не секретарь с судьею на мере и посулах судят, а где партикулярные люди из разного вольного звания слушают и свободной совестью судят по чувству неподкупной справедливости: виновата вина виновного, или она хотя и соделана, но стечением причин по совести и по разуму должна быть извинена.

Отсюда отец Григорий так право или неправо мыслил, что «если, говорит, люди, зли суще, могут так правильно рассуждать о вине, не по одному ее названию, а и по характеру всех окружных обстоятельств, то бог ли, всесовершенный в мудрости и во всех понятиях, может одобрять одинакое осуждение вины, при каких бы она условиях соблюдена ни была? – Не одно и то же, если человек себе хлеба кус скрадет и съест его, мучимый голодом и видом терзания любимых детей, и не то же самое, если похитил кто-либо какое-либо тщетное пустошество для многих нужд и часто вредных удовольствий, с намерением обнаружить превосходство своих достатков и колоть ими еще более упадшие глаза неимущего».

– Если так слишком просто и неискусно судить, – говорил отец Григорий, – и всякий одного наименования грех одинаковою епитимейкою облачать, то это будто выйдет как бы нечто безжизненное, неопытное и ставящее церковного служителя как бы несмыслем, который жизни язв врачевать не в состоянии, ибо даже понять их происхождение не силен. И тогда (рассуждал оный Григорий) едва ли не лучше, чем это до такого детства низводить, то уже совсем предоставить покаяние непосредственно душе человека пред богом, который все видит, все разумеет и может дать кающемуся чувство скорби и раскаяния, которые могут больший плод сотворить, чем поклоны.

Владыке об этом вольнодумстве было перенесено, но он, вероятно, для петербургского влияния князя выговора отцу Григорью не сделал, а только призвал его и сказал:

– Слышу, вы колеблетесь в суждении о таинстве святого покаяния между римско-католическим взглядом и протестантским. Они весьма противуположны, но я их не осуждаю, а даже скажу: обои не худы. Но мы, как православные, должны своего не порицать и держаться – тем более что у нас исповедь на всякий случай и особое применение в гражданском управлении имеет, которого нам лучше не касаться. А потому – не разрушайте, да тихое житие поживем во всяком благочестии.

Но самому лично отцу Григорию преосвященный практику по его иностранному понятию не запретил, а, напротив, благословил его и сказал:

– Никому из духовных отцов не воспрещается вникать в состояние немощной совести кающегося грешника. Напротив, – препохвально поступать с рассуждением, а для того и расспрос и беседование на духу не осудительны. Только жаль, что не у каждого есть к тому способности, время и усердие; но усердного и искусного да благословит бог.

Отец Григорий возвратился без малейшего конфуза и как умел подражать чужестранным манерам, а притом еще легко и плавно по-французски разговаривал, то всех лучших дам в городе к себе от других священников перебил, так что, несмотря на его недавность и не старые лета, многие даже от протопопов отстали и обратились в его духовные дочери, и, как заграничному, платили ему не то, что прочим, а часто по золотому, чего даже и ключарю раньше не давали. Если же он которой-нибудь на духу для большей понятности на французском языке наставление делал, то это иных в такие трогательные чувства приводило, что они гистерически навзрыд плакали и всё отцу Григорию готовы были отдать, а ничего ему не жалели.

Пример его одних огорчал, но других увлек к соревнованию. Так, смелее других ему поревновал отец Андрей, который в давней поре своей молодости в семинарии по-французски преподавал и еще малость помнил, только произносил французские

слова на латынский штиль, и ле, ля в разговоре не знал ставить. Однако он знатных дам к себе от отца Григория не отобщил, а в расспросных подробностях, какие умел делать отец Григорий, сильно спутался. Случай был с одною экономкою, которая, оставив одно место, решилась унести у своих хозяев дорогие часы, а дабы у нее оных при обыске не нашли, она их проглотила.

После же трех лет неговенья она открыла об этом отцу Андрею и сказала, стыдяся:

– Я три года недостойно причащалась, скрывая грех: я скрала господские часы и оные в рот проглотила.

Отец Андрей хотел сделать на католицкий манер соображение и спросил:

– Какие это были часы: или стенные, или карманные?

Но грешница, услыхав такой вопрос, отвечала:

– Ах, батюшка, где же вы такой рот видели, чтобы через него стенные часы проглотить можно?! Они бы могли зазвонить у меня в середке, и я бы тогда жива не осталась.

Отец Андрей покачал головою и сказал: «Это правда, стенные бы зазвонили», – и с тех пор он впоследствии рассуждения не любил и всегда то правильное отечественное мнение разделял, что для русских никакие иностранные правила не пригодны.

Автобиографическая заметка
Под давлением неодолимой скуки, которую ощущаю и с которой бесплодно борюся с осени 1881 года, хочу набросать кое-что на память о моей личности, если она может кого-нибудь занимать. Заметки эти могут быть интересны в том отношении, что покажут в моем лице, какие не приготовленные к литературе люди могли в мое время получать хотя скромное, но все-таки не самое ничтожное место среди литературных деятелей моей поры. А это, мне кажется, стоит внимания.

По происхождению я принадлежу к потомственному дворянству Орловской губернии, но дворянство наше молодое и незначительное, приобретено моим отцом по чину коллежского асессора. Род наш собственно происходит из духовенства, и тут за ним есть своего рода почетная линия. Мой дед, священник Димитрий Лесков, и его отец, дед и прадед все были священниками в селе Лесках, которое находится в Карачевском или Трубчевском уезде Орловской губернии. От этого села «Лески» и вышла наша родовая фамилия – Лесковы.

Я никогда не бывал в этом селе и затрудняюсь с точностью определить его положение, но знаю, что оно в лесной полосе Орловской губернии, именно в Трубчевском или Карачевском уезде, где-то неподалеку от большого села Брасова, о котором я в детстве слыхал рассказы тетки моей, вдовой попадьи Пелагеи Дмитриевны

Полагаю, что Лески было село бедное, потому что во всех воспоминаниях тетки об ее детстве и детстве моего отца главным образом всегда упоминалось о бедности и честности дела моего, священника Дмитрия Лескова.

Отец мой, Семен Дмитриевич Лесков, «не пошел в попы», а пресек свою духовную карьеру тотчас же по окончании курса наук в Севской семинарии. Это говорили будто очень огорчило деда и едва ли не свело его в могилу. Огорчение имело тем большее место, что места сдать было некому, потому что другой брат моего отца, а мой дядя, был убит в каком-то семинарском побоище и из-за какого-то ничтожного повода. Но отец мой был непреклонен в своих намерениях и ни за что не хотел надеть рясы, к которой всегда чувствовал неодолимое отвращение, хотя был человек очень хорошо богословски образованный и истинно религиозный. Место было передано «зятю», то есть мужу матушки Пелагеи Дмитриевны, который вскоре умер, и левитский род Лесковых в селе Лесках пресекся, но зато появился Лесков в орловском приказничестве.

Выгнанный дедом из дома за отказ идти в духовное звание, отец мой бежал в Орел с сорока копейками меди, которые подала ему покойная мать «через задние ворота».

Гнев деда был так велик, что он выгнал отца буквально безо всего, даже без куска

хлеба за пазухой халата.

С сорока копейками отец пришел в Орел и «из-за хлеба» был взят в дом местного помещика Хлопова, у которого учил детей, и, должно быть, успешно, потому что от Хлопова его «переманул» к себе помещик Михаил Андреевич Страхов, служивший тогда орловским уездным предводителем дворянства. Тут отец опять учил детей в семье бежавших из Москвы от французов Альферьевых и получал уже какую-то плату – вероятно, очень ничтожную. Но замечательно, что в числе его маленьких учениц была одна, которая потом стала его женою, а моею матерью.

На месте учителя в доме Страховых отец обратил на себя внимание своим прекрасным умом и честностью, которая составляла отменную черту всей его многострадальной жизни. Из учителей его упросили поступить на службу делопроизводителем дворянской опеки, чем он и был – не могу сказать, долго или коротко. Честность и ум отца обратили на него внимание кого-то из образованных орловских дворян, если не ошибаюсь, Сомова или Болотова, которые уговорили его ехать на службу в Петербург и дали ему для этого средства.

Здесь он служил недолго, где-то по министерству финансов, и был отправлен на Кавказ для ведения каких-то «винных операций». По собственным его рассказам, это было место такое «доходное», что на нем можно было «нажить сколько хочешь». Это же самое подтверждали его орловские приятели Тимонов и Богословский и другие, часто говорившие о «глупом бессребреничестве» моего отца. О том же свидетельствовали многие письма, оставшиеся после его смерти, последовавшей в 1848 году. Но отец мой при кавказских «винных операциях» не нажил ничего, кроме пяти тысяч ассигнациями, которые получил в награду при оставлении им этого места в 1830 году.

В 1830 году с этими маленькими деньгами он приехал в Орел, встретил мою мать шестнадцатилетней девушкой, влюбился в нее и женился на ней, получив за нею в «обещание» приданое тоже в пять тысяч рублей – тоже, разумеется, ассигнациями.

Таким образом, у них составилось десять тысяч (около трех тысяч рублей серебром), из которых, впрочем, в руках была только отцовская половина, а материнская оставалась «в обещании» за Страховым, у которого дед мой с материной стороны служил управителем имений, а Страхов считался «благодетелем» семьи Алферьевых.

Я родился 4 февраля 1831 года Орловского уезда в селе Горохове, где жила моя бабушка, у которой на ту пору гостила моя мать. Это было прекрасное, тогда весьма благоустроенное и богатое имение, где жили по-барски. Оно принадлежало Михаилу Андреевичу Страхову и ныне еще находится в его роде. Семья была большая, и жилось на широкую ногу, даже с роскошью.

В Орле отца избрали заседателем от дворянства в орловскую уголовную палату, где он скоро стал заметен умом и твердостью убеждений, из-за чего наживал себе очень много врагов. Я даже помню дела каких-то Юшковых, Игиных и Желудковых, которые, говорили, «пахли сотнями тысяч» и решались сенатом «по разногласию» в духе особых мнений моего отца, не согласных с мнениями всей палаты. Притом отец был превосходный следователь и, по тогдашним обычаям, был часто командируем для важных следствий в разные города, и особенно долго жил в Ельце, где им раскрыто весьма запутанное уголовное дело, производившееся по высочайшему повелению.

Я помню, как мы с матерью ездили к нему в Елец и как мать мою какие-то люди старались впутать в это дело с тем, чтобы подкупить отца очень большою суммою (тридцать тысяч). Отец об этом узнал и выпроводил мать в Орел, а сам остался в Ельце и довел дело до открытия тайн, разоблачивших самое возмутительное преступление.

После этого он имел какое-то неприятное столкновение с губернатором Кочубеем (кажется, Аркадием Васильевичем), в угоду которому при следующих выборах остался без места, как «человек крутой».

От отца требовали какой-то уступки губернатору, которую он будто бы мог оказать в виде вежливости, съездив к нему с визитом. Я помню, как несколько дворян приезжали его к этому склонить, но он додержал свою репутацию «крутого человека» и не поехал, а дворяне не нашли возможным его баллотировать.

Тогда мы оставили наш орловский домик, помещавшийся на 3-й Дворянской улице, продали все в городе и купили пятьдесят душ крестьян у генерала А. И. Кривцова, в Кромском уезде.

Покупка была сделана не на наличные деньги, а в значительной степени в долг – именно в надежде на пять тысяч материнского приданого, все еще остававшегося «в обещании». Оно так и не было никогда отдано, а купленная отцом деревенька поступила за долг в продажу, и мы остались при одном маленьком хуторе Панино, где была водяная мельница с толчеею, сад, два двора крестьян и около сорока десятин земли.

Все это при самом усиленном хозяйстве могло давать в год около двухсот – трехсот рублей дохода, и на это надо было жить отцу и матери и воспитывать нас, детей, которых тогда было семеро, в числе их я был самый старший.

Неудачи сломили «крутого человека», и отец хотя не сделал ни одной уступки и никому ни на что не жаловался, но захандрил и стал очевидно слабеть и опускаться.

Жили мы в крошечном домике, который состоял из одного большого крестьянского сруба, оштукатуренного внутри и покрытого соломой.

Отец сам ходил сеять на поле, сам смотрел за садом и за мельницей и при этом постоянно читал, но хозяйство у него шло плохо, потому что это совсем было не его дело. Он был человек умный, и ему нужна была живая, умственная жизнь, а не маленькое однодворческое хозяйство, в котором не к чему было приложить рук. Меня в это время отвезли в Орел и определили в первый класс Орловской гимназии.

Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком. Я думаю, что и тут многим обязан отцу. Матушка была тоже религиозна, но чисто церковным образом, – она читала дома акафисты и каждое первое число служила молебны и наблюдала, какие это имеет последствия в обстоятельствах жизни. Отец ей не мешал верить, как она хочет, но сам ездил в церковь редко и не исполнял никаких обрядов, кроме исповеди и святого причастия, о котором я, однако, знал, чту он думал. Кажется, что он «творил сие в его (Христа) воспоминание». Ко всем прочим обрядам он относился с нетерпеливостью и, умирая, завещал «не служить по нему панихид». Вообще он не верил в адвокатуру ни живых, ни умерших и при желании матери ездить на поклонение чудотворным иконам и мощам относился ко всему этому пренебрежительно. Чудес не любил и разговоры о них считал пустыми и вредными, но подолгу маливался ночью перед греческого письма иконою Спаса Нерукотворенного и, гуляя, любил петь: «Помощник и покровитель» и «Волною морскою». Он несомненно был верующий и христианин, но если бы его взять поэкзаменовать по катехизису Филарета, то едва ли можно было его признать православным, и он, я думаю, этого бы не испугался и не стал бы оспаривать.

В деревне я жил на полной свободе, которой пользовался как хотел. Сверстниками моими были крестьянские дети, с которыми я и жил и сживался душа в душу. Простонародный быт я знал до мельчайших подробностей и до мельчайших же оттенков понимал, как к нему относятся из большого барского дома, из нашего «мелкопоместного курничка», из постоялого двора и с поповки. А потому, когда мне привелось впервые прочесть «Записки охотника» И. С. Тургенева, я весь задрожал от правды представлений и сразу понял: что называется искусством. Все же прочее, кроме еще одного Островского, – мне казалось деланным и неверным. Самый Писемский мне не нравился, а публицистических рацей о том, что народ надо изучать, я вовсе не понимал и теперь не понимаю. Народ просто надо знать, как самую свою жизнь, не штудируя ее, а живучи ею. Я, слава богу, так и знал его, то есть народ, – знал с детства и без всяких натуг и стараний; а если я его не всегда умел изображать, то это так и надо относить к неумению.

За М. А. Страховым была замужем родная сестра моей матери, Наталия Петровна, большая красавица, которую старик муж ревновал самым чудовищным и самым недостойным образом к кому попало. Это был человек невоспитанный, деспотический и, кажется, немножко помешанный: он был старше моей тетки лет на сорок и спал с нею, привязывая ее иногда за ногу к ножке своей двуспальной кровати.

Страдания тетки были предметом всеобщего сожаления, но ни отец, ни мать и никто другой не смели за нее заступиться.

Это были первые мои детские впечатления, и впечатления ужасные, – я думаю, что они еще начали развивать во мне ту мучительную нервность, от которой я страдал всю мою жизнь и наделал в ней много неоправдываемых глупостей и грубостей.

Плодом супружества Страхова и моей тетки было шесть человек детей – три дочери и три сына, из которых двое были немного меня старше, а третий ровесник. И так как для их воспитания в доме были русский и немецкий учители и француженка, а мои родители ничего такого держать для меня не могли, то я жил у Страховых почти до восьми лет, и это послужило мне в пользу; я был хорошо выдержан, то есть умел себя вести в обществе прилично, не дичился людей и имел пристойные манеры – вежливо отвечал, пристойно кланялся и рано болтал по-французски.

Но зато рядом с этими благоприятностями для моего воспитания в душу мою вкрались и некоторые неблагоприятноти: я рано почувствовал уколы самолюбия и гордости, в которых у меня выразилось большое сходство с отцом. Я был одарен несомненно бульшими способностями, чем мои двоюродные братья, и что тем доставалось в науках с трудностями, то мне шло нипочем. Немецкий учитель Кольберг имел неосторожность поставить это однажды на вид тетке, и я стал замечать, что мои успехи были ей неприятны.

Это во мне зародило подозрение, что я тут не на своем месте, и вскоре пустое обстоятельство это решило так, что меня должны были отсюда взять.

Страхов умер в Москве, куда тетушка повезла его лечить и не вылечила…

Он там схоронен на Ваганьковском кладбище. Тетушка возвратилась в Горохово и стала входить ближе в хозяйство и в воспитание детей. Тогда же в доме появился в качестве опекуна ее соседний помещик Н. Е. Афросимов, невероятный силач и невероятный циник, которого за это последнее терпеть не мог мой отец. Афросимов это знал и платил ему тем же. Отец мой в его глазах был «неуклюжий семинарист».

О силе Афросимова у нас ходил такой анекдот, будто в двенадцатом году на небольшой отряд, с которым он был послан на какую-то рекогносцировку, наскакали два французских офицера. Афросимов не приказал солдатам защищаться, а когда французы подскакали к нему с поднятыми саблями, он одним ловким ударом выбил у них эти сабли, а потом схватил их за шиворотки, поднял с седел, стукнул лоб о лоб и бросил на землю с разбитыми черепами.

Не знаю, сколько в этом рассказе правды, но ему все верили, и Н. Е. пользовался большим уважением в дворянстве, предводитель которого и вверил ему страховскую опеку.

Во мне он невзлюбил «семинарское отродье» и на первых же порах нанес мне тяжкую обиду, которая теперь мне смешна, но тогда казалась непереносимою.

Дело в том, что по докладу неосторожного, но честного Кольберга меня за благонравие и успехи хотели «поощрить». Для этого раз вечером собрали в гостиную всех детей. Это было в какой-то праздник, и в доме случилось много гостей с детьми почти равного возраста. Н. Е. держал ко всем нам речь, в которой упомянул о моих добрых свойствах и заключил тем, что мне за это дадут похвальный лист. Тут же был и этот лист, перевязанный розовой ленточкой.

Мне велели подойти к столу и получить присужденную мне семейным советом награду, что я и исполнил, сильно конфузясь, тем более что замечал какие-то неодобрительные усмешки у старших, а также и у некоторых детей, коим, очевидно, была известна затеянная против меня злая шутка.

Вместо похвального листа мне дали объявление об оподельдоке, что я заметил уже только тогда, когда развернул лист и уронил его при общем хохоте.

Эта шутка возмутила мою детскую душу, и я не спал всю ночь, поминутно вскакивая и спрашивая: «За что, за что меня обидели?»

С тех пор я ни за что не хотел оставаться у Страховых и просил бабушку написать отцу, чтобы меня взяли. Так и было сделано, и я стал жить в нашей бедной хибарке, считая себя необыкновенно счастливым, что вырвался из большого дома, где был обижен без всякой с моей стороны вины.

Но зато, однако, мне негде было более учиться, и я снова теперь возвращаюсь к тому, что меня отвезли в Орловскую гимназию.

Я был помещен на квартире у некоей Аксиньи Матвеевны, которой за весь мой пансион платили 15 руб. ассигнациями (4 руб. 30 коп.) в месяц. За что я имел комнату с двумя окнами на Оку, обед, ужин, чай и прислугу. Теперь невероятно, а тогда это было можно.

Я скучал ужасно, но учился хорошо, хотя гимназия, подпавшая в то время управлению Ал<ександра> Як<овлевича> Кронеберга, велась из рук вон дурно. Кто нас учил и как нас учили – об этом смешно и вспомнить. В числе наших учителей был один, Вас<илий> Ал<ександрович> Функендорф, который часто приходил в пьяном бешенстве и то засыпал, склоня голову на стол, то вскакивал с линейкой в руках и бегал по классу, колотя нас кого попало, и по какому попало месту. Одному ученику, кажется Яковлеву, он ребром линейки отсек ухо, как рабу некоему Малху, и это никого не удивляло и не возмущало.

Ездил я домой в год три раза: на летние каникулы, на святки и на страстной неделе с пасхою. При этой последней побывке мы с отцом всегда вместе говели – что мне доставляло особенное удовольствие, так как в это время бывает распутица и мы ездили в церковь верхом.

. . . . . .

Из рассказов тетки я почерпнул первые идеи для написанного мною романа «Соборяне», где в лице протоиерея Савелия Туберозова старался изобразить моего деда, который, однако, на самом деле был гораздо проще Савелия, но напоминал его по характеру.

<1882–1885?>
<Автобиографическая заметка>
Из дворян Орловской губернии.

Отец Семен Димитриевич Лесков. Мать Марья Петровна из рода Алферьевых. Родился 4 февр<аля> 1831 года в селе Горохове, принадлежавшем дяде Н. С<еменови>ча Лескова – Михаилу Андреевичу Страхову, имевшему в свое время очень видное положение среди орловского дворянства Первоначальное воспитание получил в этом богатом доме вместе со своими двоюродными братьями, для которых содержались в деревне хорошие русские и иностранные учителя; потом был отдан в Орловскую гимназию, во время пребывания в которой отец его умер и семья подверглась бедственному разорению. Все сгорело, и Н. С – ча взял к себе в Киев брат его матери, профессор Киевского университета, доктор медицины Сергей Петрович Алферьев, в 1849 году Здесь Н. С. продолжал свое образование под особым дружественным руководительством профессора Игнатия Фед<оровича> Якубовского, который был увлечен даровитостью своего ученика и занимался им с большой любовью. – Тетка Н. С – ча Александра Петр<овна> Алферьева вышла замуж за англичанина Шкотта, который управлял большими имениями Нарышкиных и Петровских – переводил крестьян из густонаселенных имений в степи волжского понизовья. Шкотт увлек Н. С. к себе, где он близко увидел народ в самых….[3]

В юности на него имели влияние: профессора Савва Осип<ович> Богородский, Игнатий Фед<орович> Якубовский и известный статистик-аболиционист Дмитрий Петрович Журавский, – потом позже Шкотт (англичанин-радикал). По письмам к Шкотту Л-ва узнал Селиванов и любил читать его письма. В литераторство Лескова втравили профессор К<иевского> ун<иверсите>та Александр Петр<ович> Вальтер, Ник<олай> Ил<ларионович> Козлов и Ст<епан> Ст<епанович> Громека – свели Л – ва с Краевским и Дудышкиным и настояли, чтобы он «писал». – Платили скудно: за романы и повести по 50 руб. («Овцебык», «Обойденные»). За «Некуда» почти ничего не заплачено. Гонорар Л – ву весь возвысил Катков, начавший платить ему по 150 руб. («Соборяне» и «Запеч<атленный> ангел»), а позже по 200 руб.

В П<етербург> приехал в тот год ноября<?>

«Очерки винокур<енной> промыш<ленности>».

<1889–1890>
Заметка о себе самом

Заметки Н. Лескова (Сборник). Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru
Николай Семенович Лесков. Происходит из дворян Орловской губернии. Родился 4 февраля 1831 года в селе Горохове, Орловского уезда. Детство провел в селе Панине, Орловской губернии, Кромского уезда. Обучался в Орловской гимназии. Осиротел на шестнадцатом году и остался совершенно беспомощным. Ничтожное имущество, какое осталось от отца, погибло в огне. Это было время знаменитых орловских пожаров. Это же положило предел и правильному продолжению учености. Затем – самоучка.

Служил непродолжительное время в гражданской службе, где положение сблизило Лескова с покойным Ст<епаном> Ст<епановичем> Громекой. Сближение это имело решительное значение в дальнейшей судьбе Лескова. Пример Громеки, оставившего свою казенную должность и перешедшего в Русское общество пароходства и торговли, послужил к тому, что и Лесков сделал то же самое: поступил на коммерческую службу, которая требовала беспрестанных разъездов и иногда удерживала его в самых глухих захолустьях. Он изъездил Россию в самых разнообразных направлениях, и это дало ему большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений. Письма, писанные из разных мест к одному родственнику, жившему в Пензенской губернии (А. Я. Шкотту), заинтересовали Селиванова, который стал их спрашивать, читать и находил их «достойными печати», а в авторе их пророчил «писателя».

Писательство началось случайно. В него увлекли Лескова сначала профессор Киевского университета, доктор Вальтер, убедивший Лескова написать фельетон для «Современной медицины», а решительное закабаление Лескова в литературу произвели опять тот же Громека и Дудышкин с А. А. Краевским. С тех пор всё и пишем.

В мае или июне 1890 года этому писанию совершится тридцать лет. Беллетристические способности усмотрел и поддерживал или поощрял Аполлон Григорьев.

Верно: Н. Лесков.

<1890>
Большие брани
(Общественная заметка)
То сей, то оный на бок гнется.

Опять превеликие и буйные брани настали в нашей литературе. Пребывая по возможности в стороне от всех этих турниров, мы, может быть, не без основания несем от кого-нибудь из наших читателей упрек, что мало следим за литературными явлениями и относимся к ним, по-видимому, совсем безучастно. Сознаемся, что известная доля подобной укоризны отчасти, может быть, нами и заслужена: мы действительно не пишем ни срочных обозрений русских журналов, ни периодически появляющихся критик и рецензий на новые книги. Но всего этого мы не делаем отнюдь не по невниманию или неуважению к литературе, а именно и по вниманию и по уважению к ней. Мы того убеждения, что основательных, подробных и дельных критик писать в газете невозможно, а потому и искать такой критики в какой бы то ни было газете будет всегда труд напрасный. Газеты, посвященные разработке вопросов дня, не могут, да и не обязаны отдавать большого места явлениям литературным. Известные газеты так это и принимают, а другие, которым такой взгляд кажется ошибочным, держатся иных обычаев. Эти последние посвящают очень большое внимание не только всему появляющемуся в печати, но даже не манкируют и тем, что происходит в самой жизненной среде литераторов. Некоторые из таких газет, следя за поведением литераторов, при появлении произведений того или другого из них напоминают публике, что вот этот автор человек хороший, а этот сделал то-то и то-то, или даже и не объясняют, что именно он сделал, а просто не одобряют его с нравственной стороны. Одна из таких газет была так аккуратна, что однажды как-то заявляла даже, что один покойный критик (тогда еще живой) бывает иногда пьян; а другая обличала одного редактора, что он в карты играет.

Мы никогда не могли конкурировать в этом роде с многосторонними изданиями, о которых упомянули. Особых усилий к приобретению сколько-нибудь значащих и веских критических статей мы не употребляли как потому, что их при нынешнем совершенном отсутствии критических дарований в среде наших писателей негде достать, так опять и потому, что заботы об этом не считали своим главным делом. Повторяем снова: вполне ценя и высоко ставя значение критики, мы все-таки не гонимся за нею особенно и убеждены, что настоящее место ее в журналах, а не в газетах, ибо газета, по всем условиям ее издания, не может так внимательно заниматься критикою, как может делать это месячный журнал. Обозреть книгу журнала или

какого-нибудь отдельного сочинения в газетном фельетоне, заключающемся приблизительно в трехстах коротеньких строчках, и обозреть так, чтобы тут все дело было выслежено и доказано, – это задача не только трудная, но, по нашему мнению, даже и недостижимая. Стремясь достичь эту недостижимую задачу, критик-фельетонист прежде всего манкирует доказательностью и заставляет себе верить на слово. Стесненный пределами газетной статьи, он поневоле говорит с публикою, как мог бы говорить разве только человек уже ауторизованный и аккредитованный общественным доверием. Он говорит: такой-то роман хорош, а такой-то дурен, и ему надо верить почти без всяких доказательств, потому что ему некогда, да и негде приводить эти доказательства. Отсюда у всех таких критиков укоренена привычка говорить бездоказательно, а эта привычка неминуемо влечет вслед за собою другую привычку – говорить безответственно. Развязный фельетонист объявляет одного писателя честным, другого бесчестным, одного независимым, другого продажным, одного талантливым, другого бездарным, и тоже не станет приводить в подкрепление своих слов ничего или приведет ничего не стоящую сплетню, вздорный намек, и, конечно, и он дальше ни за что не ответствует. Была ваша воля читать; в вашей же власти ему и верить или не верить.

Но зачем же читать, если не верить? Им верят. Справедливость заставляет сказать, что положительное отсутствие критических дарований, вследствие которого наши журналы давно в корень оскудели критическими статьями, у нас для многих отзывы фельетонистов преблагополучно заменяют критику, и публика на это не только не жалуется, но даже этих фельетончиков «спрашивает» и подчас очень нередко их «одобряет». Фельетонист объявит, что вещь дурна, и публика повторит это и позудит насчет обруганного автора. Фельетонист скажет, что этот роман фельетонен, и публика склоняется и к этому приговору, даже вовсе не замечая того, что самое определение фельетонности повести или романа она вычитала не более как в фельетоне. что приобретут наши читатели от того, если мы без всяких доказательств скажем, что «Обрыв» г. Гончарова интересный и мастерской роман, а «Люди сороковых годов» г. Писемского – роман из рук вон плохой и слабый? Читатели вполне вправе не положиться на наши слова и вправе требовать, чтобы мы поддержали свое мнение доказательствами, а если мы таких доказательств не представим, то вправе не доверять нашему приговору. Излишнее доверие их в этом случае не только было бы неуместно, но оно возлагало бы на нас и слишком большую ответственность, которой мы вовсе не рискуем брать на себя.

Мы никогда не считали удобным домогаться такого безграничного доверия к нашим суждениям по литературным вопросам и, не имея возможности высказываться о литературных явлениях положительнее и доказательнее (как это могут делать журналы), находили, что газета наша и ее читатели ничего не потерпят, если мы вовсе не будем касаться чисто литературных вопросов или будем касаться их лишь в некоторых особенных обстоятельствах и случаях.

Газета различествует от журнала не одним сроком выходов и формою издания: у нее есть свои задачи, между которыми литературная критика занимает не первое место. Если медицина поделила врачевство между специалистами, и ныне уже терапевт не мешается в болезни хирурга и ларингоскопист не врывается в область окулиста или офтальмиатра, то в литературе тем паче давно уже, кажется, пора принять деление и по неизменному закону политической экономии не стремиться в одни руки сделать все, а делать лишь то, что удобнее приспособлена делать наша мастерская. Здесь закон разделения труда.

Потом, у нас есть и другие причины, воздерживающие нас от вмешательств в так называемые литературные дела. Чужой, а частию и свой собственный, опыт убедил нас, что все подобного рода вмешательства весьма неприятны и небезопасны: они отклоняют издание от его прямого назначения и увлекают его нередко на путь бесконечной полемики, имеющей у нас совершенно особенный, беспокойный и для многих нестерпимый характер брани. Начнется дело будто и вправду о каком-то деле, а потом дело это бросится в сторону, а пойдет вскрывание чужих тайн, чужих побуждений и критика чужой совести. Это занятие, по нашему мнению, всего менее идет к тому, что мы должны делать, исполняя свои обязательства перед нашими читателями. А к тому же мы не питаем ни к чему подобному никаких влечений, считаем все это, с одной стороны, несколько излишним для издания, а с другой, неприятным и скучным для читателей, которым решительно все равно, например: действительно ли все сотрудники журналов «Дела» и «Недели» все люди особой честности, какой сотрудники других изданий никогда достигать не могут, или же возможно, что честный человек случайно забежит и в «Сын отечества» и в «Русский вестник»? Вмешаться в подобные разбирательства значит самим рисковать попасть в

колею, которая что дальше, то грязнее, что дальше, то зловоннее, а попав в нее раз, ею придется идти, пока или самого какой-нибудь досужий человек бесцеремонно оборвет и опачкает, или самому придется браться за такое же точно занятие и ратовать против совестливости многих добрых людей, с которыми должно счесть за лучшее на абордаж не сцепливаться. Пусть себе летят от них и бомбы и ядра – благо они существенно безвредны нам, – мы их можем оставлять без всяких ответов. На этом никто не теряет: ни мы, сохраняющие себя от излишнего труда и раздражений; ни наша газета, сберегающая на своих столбцах место для известий, из которых самое незначащее все-таки более полезно, чем целый поток ругательств; ни читатели, которые таким образом не получают намеков на то, чего не ведает никто; ни беспокойные нападчики, за которыми скорее и легче остается неоспоримым их последнее слово; ни самая литература наконец, потому что, молча о ней, мы по крайней мере не делаем вкладов в корванну ее горестных скандалов и не участвуем в выводах на позорище ее деятелей. Правда, что между последними мы знаем много людей, недостойно забрызганных «слюною бешеной собаки», и, может быть, иначе рассуждая, мы и не совсем вправе бы молчать и не поднимать голоса в защиту их долго и упрямо попираемой репутации, но мы имеем на это свой взгляд и думаем, что поднимать слово к обществу, слагающему свои мнения по тому, что ему скажет последняя печатная строчка, дело бесполезное. На выраженную вчера клевету явится сегодня опровержение, а его завтра опять подернет новою клеветою, и опять все темно и мрачно. Клевета неистощима, истина же, повторяемая раз за разом, как глас вопиющего в пустыне, так и остается, как vox clamantis in deserto.[4] Что пользы в том, если бы мы, или другая из неторопливых на осуждения газет, вступились за ведомых нам с наилучших сторон литераторов, на добрые имена которых навалены самые гнусные клеветы и покоры? Что, если бы в ответ на то, что А. или Б. люди нечестные, со всею энергиею заявлено, что все известные поступки этих людей говорят лишь в пользу их честности, а не бесчестья? На это бы очень просто ответили, что мы или еще не доросли до того, чтобы судить о честности, или что мы, пожалуй, и сами-то люди сомнительной честности. Такие примеры были и вполне возможны и на будущее время, пока в наших литературных нравах не произойдет благого перелома. Но, пока такого перелома не чувствуется, спрашиваем: на какую же почву может быть сведен у нас литературный спор? На суд, или на самозащиту, или на пренебрежение?

Суд!.. но где еще пока те понятия, в которых приговор суда может оправлять дело оскорбленной чести? Самозащита!.. но наши литературные люди ни пороха, ни шпаг не принимают, и остается, стало быть, одно: пренебрежение всему, что говорят, где говорят и как говорят? Прекрасно! Но тогда какая же вернейшая тактика класть хранение устам людским, как не молчание?.. Одно оно, оно, святое молчание, иже ни в чем ответ, оно источник сосредоточивающейся в себе мудрости, оно только еще и может что-нибудь здесь, где уже ничего не может сделать никакое слово и никакое убеждение.

Для подкрепления слов наших живым примером расскажем два самые свежие случая, до чего доводят русских литераторов усвоенные ими полемические приемы.

Первый из недавних случаев к неистовой полемике подали бывшие некогда именитые сотрудники именитого в свою очередь «Современника», гг. Антонович и Жуковский. Они издали книжку, в которой сильно охуждали нрав и убеждения г. Некрасова, вычисляли различные вины его против Белинского и других его сотрудников и намекали на сношения г. Некрасова с влиятельными людьми, – сношения, по мнению гг. Антоновича и Жуковского, вероятно непристойные для редактора такого журнала, каков был «Современник». Тут же, в этой книжечке, авторы коснулись и г. Елисеева и вывели на чистую воду, о чем с ними говаривал в былые времена г. Слепцов. Кстати, при этом гг. Антонович и Жуковский напомнили здесь, как водится, нечто и о рублях и этим финалом дали другим досужим людям повод к истолкованиям мотивов, которые двигали гг. Антоновичем и Жуковским к сочинению и изданию их вполне неодобрительной и притом очень дурно и бестактно написанной книги. О деле этом до сих пор поговорили почти все газеты, и гг. Антоновича с Жуковским особенно не похвалили за их странный поступок. Книжка этих писателей, как мы сказали, в самом деле написана даже без уменья писать, – авторы как будто разучились и в этом. Кроме того, имен, обруганных в этой книжонке кстати и некстати, несть числа, и за что они здесь обруганы, тоже неведомо. Это делает книжку каким-то скучным поминаньем, а затем в ней всё личные, никому не интересные счеты. Общее впечатление, какое эта книжонка произвела в обществе, для авторов, вероятно, было нелестно. Всякий мало-мальски порядочный человек видел в пасквиле гг. Антоновича и Жуковского самую оскорбительную непорядочность, ибо понятно, что порядочные люди могут делать дело вместе и потом разойтись, могут порядочные

люди разладить и во взглядах и в убеждениях и не только перестать любить один другого, а даже возненавидеть друг друга, но чтобы они, разойдясь, выводили на общественное позорище то, что кто у кого в прежних отношениях видел на столе или о чем друг с другом говорил по-приятельски, – этого порядочные люди позволять себе не могут. Гг. Жуковский и Антонович очевидно пренебрегли этим правилом, и это им поставлено на вид всеми излагавшими свое суждение об их странном поступке. Нет сомнения, что авторы очень много повредили себе этою книжкою. Можно думать, что они могли сказать нечто очень веское вдобавок к тому, что разновременно говорилось об их врагах, но недостаток такта и чувства меры увлек их, и они своею книжкою сделали просто проступок против нравственности, за который и наказаны единогласным осуждением их.

Но недостойное дело, которому всего приличнее было бы тем и заключиться, однако, так не окончилось. Гг. Антонович с Жуковским убеждали общество, что люди, оставшиеся при г. Некрасове после их отхода, «гроша не стоят», а г. Елисеев (сотрудник нынешних «Отечественных записок») ответил этим своим бывшим собратом, что «за них грош дать еще можно», и так как статья г. Елисеева написана хорошо и уж во всяком случае несравненно умнее, последовательнее и строже, чем полная раздраженных метаний книжечка Антоновича и Жуковского, то теперь последнее слово осталось за г. Елисеевым, и публика оповещена, что гг. Антонович и Жуковский промахнулись, променяв г. Некрасова на Тиблена, и недовольны, что «Отечественные записки» идут теперь без их подспорья, но что, однако же, сотрудники нынешних «Отечественных записок» находят, что за гг. Антоновича и Жуковского «грош дать все-таки можно».

Теперь, благодаря тому, что ни один орган, вероятно, не может предложить гг. Антоновичу и Жуковскому таких огромных районов, какие им, судя по их прежним полемическим статьям, необходимы для того, чтобы вести свои препирательства, плодотворный спор этот, вероятно, на этом и замолкнет. Но, не будь этого обстоятельства, были бы, конечно, исписаны еще целые стопы бумаги о том, за кого «можно дать грош» и кто «гроша не стоит». И кто был бы виновником этого спора, в котором дошло бы до выворачивания снов, а не только до воскрешения старых памятей? Вся, конечно, вина в этом пала бы, разумеется, на г. Елисеева, удостоившего ответа нелепую выходку гг. Антоновича и Жуковского. На подобные вещи один благоразумный ответ: молчание.

Второй случай еще характернее, и притом как этот случай еще в полном своем развитии, то он невесть чем и заключится.

Здесь вначале спор было пошел совсем ученый, и пошел по-человечески. Люди не соглашались во взглядах и мнениях: г. Катков, как известно, поддерживает так называемое классическое образование, а г. Стасюлевич (редактор «Вестника Европы») взялся стоять за реальное. Стояли они довольно долго друг против друга, издали лишь потачивая один на другого свои шпоры, как вдруг роковой случай, и они сразились. В одном английском журнале была статейка, в которой доводилось, что классическое образование применимо не для всех. В «Вестнике Европы» стали приводить эту статью и кстати при этом выправили ее немножко так, что вышло, будто классическое образование совсем ни для кого не удобно. Г-н Катков изловил г. Стасюлевича на этой вольности в передаче чужих слов и, распространившись о деле образования, самый английский журнал, из которого была заимствована исправленная «Вестником Европы» статья, назвал уничижительным именем «журнальчика». Г-н Стасюлевич отвечал г. Каткову с заметною неловкостию, но зато с своей стороны изловил московского редактора, что «журнальчик», о котором тот в этом споре отнесся неуважительно, в прежнее время встречал в журнале г. Каткова почтенные отзывы. Г-н Катков ничем не опроверг этого, и г. Стасюлевичу так и удалось оставить на г. Каткове некий покор в том, что у него к одному случаю одно и то же издание титулуется с почетом, а к другому то же издание рядится в затрапезную кличку. Как гг. Катков и Стасюлевич продолжали спорить о самом деле, то есть о преимуществах той или другой образовательной системы, того касаться не будем. Один доказывал свое, другой свое, но вдруг оба сорвались с вопроса и повели речь совсем о постороннем. Г-н Стасюлевич в одной из своих последних статей по этому вопросу, неведомо с какого повода, напечатал нечто совершенно неуместное. Он стал в этой статье сопоставлять стояние г. Каткова за классицизм с тем, что им, г. Катковым, и г. Леонтьевым в Москве основан классический лицей, в котором определено брать по 900 р. в год за воспитанника… Этим как будто бы выяснилась вся тайна стояния «Русского вестника» и «Московских ведомостей» за классицизм…

Ответ на эту во всяком случае нелитературную выходку был легок и прост. На устах каждого, кто прочел такой подход г. Стасюлевича к классицизму г. Каткова, вертелось: «А разве не мог Катков завести для своих выгод реального училища, если у него о том только шло дело, чтобы собирать девятьсот рублей за ученье?»

Ответ этот был у всех, и касательствам к искренности г. Каткова в деле образования в обществе не придавали решительно никакого веского значения, как вдруг г. Каткова обходит какой-то злейший его враг, и московский редактор с размаха палит оглушительный и безобразный выстрел в лужу.

Некто Б. М., личность, очевидно проживающая в Петербурге и не чуждая литературного мира и его сплетен, прислала г. Каткову статью своего приготовления. В этой статье, написанной тоже а 1а г. Антонович, без такта, без силы и без сдержанности, г. Б. М. ни более ни менее как вступается за г. Каткова в его же, г. Каткова, газете. Но и это бы еще пола-горя; но услужливый медведь г. Каткова нашел еще более увесистый булыжник: для того чтобы согнать муху со лба своего друга, он пустил в его газету такой самый снаряд, какой был вложен г. Стасюлевичем в статью «Вестника Европы». Одобрив убеждения, планы и искренность гг. Каткова и Леонтьева, г. Б. М. говорит, что г. Стасюлевич совсем не таков, что у него вовсе нет похвальных качеств г. Каткова, и его, г. Стасюлевича, в споре о науке скорее есть основания заподозревать в неискренности, потому что он сердится на учебное ведомство за то, что раз его с профессорской кафедры смыло, а в другой он на нее метил, да не попал. Притом г. Б. М. рекомендовал обратить внимание на то, что фамилия редактора «Вестника Европы» кончается на ич, а в журнале он помещает статьи, в которых сквозит желание, чтобы Россия была лишена высшего образования. А мало всего этого, так он, г. Б. М., указывает, что г. Стасюлевич еще держит в ленном владении такие влиятельные органы, как «Петербургские ведомости» и солидарные с этою почтенною газетою журнал «Дело» и журнальчик «Неделю» (очень ничтожную газетку, ныне запрещенную на три месяца и, как слышно, уже совсем прекратившуюся).

Таким образом, как мы видим, разговор, начатый о системах образования, сведен мало-помалу ко вскрытию тайных побуждений г. Каткова и неявных действий г. Стасюлевича. Поводом к начатию спора была перефразировка статьи, а в числе средств, при содействии которых весь ученый спор этот достиг нынешней своей зрелости, оказались сначала со стороны г. Стасюлевича, а потом со стороны сотрудника г. Каткова сведения, собранные, что называется, «под рукою».

Одним словом, полемика эта снова доведена до степеней самых низменных, но и всему этому еще не конец, всему этому суждено идти еще дальше.

Только что нелепая выходка г. Б. М. появилась, г. Стасюлевич ею тотчас обиделся и напечатал в «Петербургских ведомостях» письмо, в котором, между прочим, по поводу окончания своей фамилии на ич сказал, что он тому не виноват, что по этому-де судить о направлении человека не следует и что может быть-де, что и автор напечатанной г. Катковым статьи, скрывающийся под буквами Б. М., называется Болеславом или другим каким не православным именем и сам имеет фамилию, кончающуюся на ич.

Кто хотя мало-мальски знаком с литературным миром, тому тотчас становилось понятно, в чей огород бросал г. Стасюлевич свой камушек. Здесь в Петербурге, как только прочли в «Современ<ной> летописи» г. Каткова сказанную статейку, подписанную буквами Б. М., так сейчас же по разным то льстивым, то наглым приемам и особенно по совершенно типичному языку, который можно назвать развязно кадетским, или барчуковским, или, – принимая название, данное этому языку Л. Н. Толстым, – языком «ерническим», назвали автора без затруднений. Здесь нимало не удивлялись, что известный человек написал и имел неделикатность послать эту льстивую и в других отношениях предосудительную статью редакторам «Московских ведомостей», но все были безмерно удивлены, как редакторы «Московских ведомостей» эту статью напечатали! Как бы кто с какими чувствами ни привык относиться к изданиям г. Каткова, всяк все-таки усвоил себе привычку видеть, что издания эти не манкируют уважением к печатному слову, и… вдруг позволить самих себя расхвалить в своей газете, а противника, который, положим, сам первый перешел к личностям, отделать на все стороны, объявляя его стоящим во главе центрального управления тремя органами, в которых патриотические русские вопросы встречают обыкновенно непатриотическое разрешение. «Петербургские ведомости» вопиют, что это донос … Мы давно слышим в литературе это нелитературное слово, давно у нас называют доносами и статьи, и повести, и критики, и даже объемистые

романы; но имеем свой взгляд на эти доносы, по которым никого не берут, не судят, не вяжут и не могут ни брать, ни вязать, ни судить. Когда-нибудь в другое время мы поговорим и об этих доносах, и о доносчиках, в которые у нас, между прочим, зауряд попали все более известные современные романисты, начиная гг. Тургеневым и Гончаровым и заканчивая гг. Крестовским и Клюшниковым, а теперь не будем отрываться от нашего рассказа. Г-н Б. М., рассуждая в своей статье о доносах, сказал, что он не признает литературных доносов, потому что за донос, что не на ухо нашептывается, а передается посредством печати вслух всему миру? Г-н Б. М. написал, что г. Стасюлевич держит в своих руках, кроме «Вестника Европы», еще «Петербургские ведомости», «Дело» и «Неделю», а г. Стасюлевич ответил, что это неправда, и почему ж теперь этой неправде непременно должно называться «доносом», а не враньем, не сплетнею и не каким-нибудь другим подобным более ей приличным именем? – Г-н Стасюлевич может почивать спокойно: никто его среди ночи по поводу статьи г. Б. М. не потревожит, да и г. Б. М. может тоже не тревожиться: он никого не погубил, ибо истинная цена слов его везде обозначена ясно. Все в этом видят ни больше, ни меньше, как: заговорили два русские ученые о деле, перешли к личностям и, наконец, оба приняли к своим услугам сплетню. – Дело обыкновенное.

Русская поговорка гласит: «Что пойдет по рукам, то будет и в песьих зубах».

По общему закону судеб, как барынино платье донашивается ее служанкою, так и вопросы, на которых столкнулись лица более крупные, дорешаются, так сказать, людцами более маленькими, и гг. Катков и Леонтьев после пересмотра их совести «Вестником Европы» поступили на суд таких петербургских судей, перед которыми не оправдится всяк живый. От этих теперь московские редакторы получают окончательную отделку.

В ряду этих беззаветных писателей в своем роде видное место занимает некто, пишущий в «Петербургских ведомостях» под именем «Незнакомца». Этот писатель давно уже и сам ощущает свое значение и в своих фельетонах беззастенчиво говорит: «Этого даже я не могу», или «на это даже я не решуся». Мы упоминаем об этом, конечно, вовсе не в укоризну ему, а говорим потому, что упомянутый писатель в известном жанре действительно достиг замечательного совершенства и своею беззастенчивою смелостию и развязностию должен возбуждать зависть в плетущейся за ним ватажке его последователей и подражателей… Не говоря ни слова о достоинствах его стиля, его манеры и о проявляемых им способностях и талантах, мы должны сказать, что одна его неустрашимость составляет уже нечто выходящее вон из уровня. Он ни перед чем ни останавливается; всех тормошит: и актеров, и писателей, и режиссеров, и танцовщиц, и генералов, и докторов, и дам, и никого не боится. Страха в нем нет ни следа. Коснулся он как-то чересчур близко г-жи Лядовой, ему за это сделали некоторые замечания, – он извинился. Но спустил немножко, и опять за свое. Ему кто-то чем-то погрозился в анонимном письме. Он даже вовсе не скрыл этого и показал, что он вполне пренебрегает угрозами. «Что же такое, – говорил он. – Будет убийство в Бассейной улице» (здесь, верно, этот писатель живет). Это ему решительно ничего: пусть убьют, а уж он если за что взялся, не бросит. Ему и опять кто-то еще чем-то грозился, а романист Крестовский за подтруниванье над его фантазиею поступить в уланы даже обещал прямо воздействовать на г. Незнакомца, но, верно, потом раздумал. Таков уж русский человек: сгоряча погрозится, а там и сбрендит, и выйдет по пословице: «В храбром уборе, да без храбрости». Но как бы там ни было и почему бы то ни было, только не слыхать, чтобы г. Крестовский «воздействовал» на г. Незнакомца, как сулил ему.

Их мундиры, их султаны,
Сабли, каски, доломаны
скрылись, а г. Незнакомец по-прежнему продолжает свое служение обществу и от времени до времени уделяет даже немалую часть своего внимания г. Крестовскому, высказываясь о нем по-прежнему в том же малопочтительном духе, который вызывал со стороны последнего обет воздействия.

Этому же бесстрашнейшему человеку попались, наконец, в руки злополучные московские редакторы, гг. Катков и Леонтьев! – Ужасный Незнакомец взял солидных людей в свою приспешную и накрошил из них вот какую окрошку.

Г-н Незнакомец написал фельетон о собаках и в нем-то и решился отделать московских редакторов под одну стать с собаками, «которые спят в конурах и которые спят на подушках». Так как здесь и прием, и смысл речи, и все ее

переходы имеют неоспоримейшие достоинства непосредственной оригинальности, то мы немножко познакомим наших читателей с этим последним произведением писателя, вносящего в газету нечто действительно неподражаемое и самобытное.

Г. Незнакомец прямо в первых двух строках фельетона объявляет, что «нынешний раз мы сначала будем беседовать о собаках» и, сказав несколько слов о собачьих натурах, упоминает, что «есть собаки двуногие», добирается, что значит, когда собаки лают, виляют хвостами и лижутся, и говорит:

На основании этих известных признаков можно бы построить целую диссертацию, но с тех пор, как г. Леонтьев, соратник г. Каткова, объявил, что диссертации пишутся только людьми недобросовестными, добросовестные же люди, как он, г. Леонтьев, получают ученые степени за передовые статьи в «Московских ведомостях» и за ведение счетоводства у г. Каткова, с этих пор даже я не решусь сочинять диссертацию; а потому займемся безразлично собаками вообще, не касаясь подробностей и не обозначая, к какой породе они принадлежат.

И вот, поговорив о собаках у садков и о собаке, которая кого-то испугала, а потом о режиссере Яблочкине (этом новом злополучном bête noire[5] наших фельетонистов) и о пожарном солдате, который, по мнению г. Незнакомца, совершенно мог бы заменить режиссера Яблочкина, г. Незнакомец снова увидал удобный случай сделать переход к гг. Каткову и Леонтьеву. Он говорит (о режиссерстве пожарного солдата):

что для всего этого мудрости особенной не требуется, и на нее хватит как г. Яблочкина, так и всякого пожарного. Да что? Нынче и не на такие дела мудрости особенной не требуется.

Г-н Леонтьев, профессор Московского университета и сотоварищ г. Каткова, человек, кажется, совсем не мудреный, а управляет тремя редакциями и лицеем. Мало того. Совет университета соглашается на различные его предложения, очевидно вызванные экономическими соображениями сего знаменитого классика, который, впрочем, творений никаких, вероятно, не оставит. Г-н Иванов, которого он предложил в экстраординарные профессоры и который не написал ни одного сочинения «по крайней добросовестности», как выразился г. Леонтьев, дает уроки в лицее; повысив его в экстраординарные профессоры, г. Леонтьев «по крайней своей добросовестности» вознаградит своего учителя. Хорошо и дешево.

Я знаю, что г. Б. М., который выдумал, что «С.-Петербургские ведомости», «Неделя» и «Дело» находятся в «личном владении» у г. Стасюлевича, напишет панегирик бескорыстию гг. Каткова и Леонтьева, а гг. Катков и Леонтьев, «по крайней своей добросовестности», напечатают его в одном из своих органов. Г-н Б. М. распространится, как распространился уже он в «Современной летописи», «о безвозвратных пожертвованиях деньгами и тяжком безвозмездном труде» гг. Каткова и Леонтьева, учредивших лицей будто бы единственно для славы России, не заботясь о своих карманных интересах, хотя 900 руб. годичной платы за воспитанника пойдут, несомненно, в общую кассу бескорыстных редакторов «Московских ведомостей».

Г-н Незнакомец трактует г. Б. М. очень невысоко и говорит:

Он развлекает своих господ Леонтьева и Каткова подьяческими шуточками вроде: «едет чижик в лодочке в генеральском чине, не выпить ли водочки по этой причине» Господа смеются, а г. Б. М. рад: почему же господа смеются? По легкомыслию, конечно, не подозревая, что «чижики в генеральском чине» суть не кто иные, как гг. Катков и Леонтьев, а «лодочка», на которой они едут, «Московские ведомости»; их лакеи и камердинеры, «по этой причине», пьют водочку и напиваются до того, что теряют разум, пишут панегирики доносам и отождествляют редакцию «Московских ведомостей» с министерством народного просвещения. Г-н Б. М. прямо говорит, что тот, «кто считает редакторов „Московских ведомостей“ злыми обскурантами и гасильниками светлых педагогических идей, несомненно должен считать таковым же и нынешнее управление народного просвещения». Вот они каковы, эти «чижики в генеральском чине», вечно отождествляющие себя то с целою Россиею, то с разными ведомствами. Самолюбие поистине громадное, хоть и не приставшее чижикам в генеральском чине, которые привлекают к себе не пением, а «щелканьем», как настоящие чижи, и, как настоящие же чижи, выбирают для своего щелканья вершины леса, как места совершенно безопасные. Настоящие чижи отличаются ловким устройством своих гнезд; чижи в генеральском чине тоже прекрасно устроили свое

гнездо из веточек «Московских ведомостей», мха классического лицея, прутиков «Русского вестника» и лишаев Московского университета. Настоящий чиж совершенно особенным образом порхает перед самкою, как будто не может летать как следует. Чижи в генеральском чине тоже подобным образом порхать умеют, в особенности г. Леонтьев, порхающий перед университетом, профессоров которого он хочет приручить к своему лицею. Быть может, найдутся читатели, которые, по добросердечию, в самом деле поверят, что этим чижам в генеральском чине плохо, что они «безвозвратно тратят деньги» и поднимают «тяжкие безмездные труды». Таким читателям я повторю слова Брема, сказанные им о чижах настоящих: «Чижи, прилетающие зимою на дворы, далеко не так достойны сожаления, как думают некоторые нежные души, потому что чижам очень хорошо». Смею уверить, что и чижам в генеральском чине очень хорошо, и это блаженное состояние их продлится до тех пор, пока общественное равнодушие не пробьет дыры в их лодочке и не снимет с них генеральского чина.

В заключение же этого совета разжаловать гг. Каткова и Леонтьева из генералов в чижи, г. Незнакомец обращается с сожалением к тем, кто имеет имена и фамилии, выдающие не совсем русское происхождение, и употребляет тут следующее коварство:

Ах, г. Б. М., – говорит он, – хорошо вам говорить это, а каково-то это слушать таким благонамеренным гражданам, как г. Болеслав Маркевич, который, правда, поместил в прошлом году «Типы прошлого» в «Русском вестнике» и таким образом застраховал себя, по-видимому, от нападок «Московских ведомостей»; но кто знает, надолго ли продлится их милость?..

Вот, что называется, договорились и до шишки на носу тунисского бея и мало-помалу наведениями да сопоставлениями сблизили таинственные Б. М. с г. Болеславом Маркевичем, которого фамилия точно так же кончается на ич, как и фамилия г. Стасюлевича, и у которого вдобавок такое нескромное польское имя! Но и этого мало: вывели, что некая слабая повестца, которая напечатана в «Русском вестнике» 1868 года под заглавием «Типы прошлого», написана вовсе не г. Лесницыным (как значится в журнале), а тем же Болеславом Маркевичем … То есть, что г. Лесницын, подписавший «Типы прошлого», вовсе не Лесницын, а, вероятно, псевдоним того же польского человека Болеслава Маркевича … «Маску долой!» Как некогда говорил г. Зайцев, так и г. Незнакомец тоже не дает маха и, срывая маски, действительно обнаруживает совершенные неожиданности! Поляки в «Русском вестнике»!.. Это страшно, это неистово, это ужасно, и больше всего… это смешно!.. Человек с фамилиею на ич, ратующий против фамилий, имеющих такое окончание; поляк, заведомо проникающий в «Русский вестник» и «Московские ведомости» под русским флагом; и потом вся эта родовая польская тонкость и способность к интриге, опростоволосившаяся до того, что ее изловили, выпотрошили, вывернули с лица наизнанку и поставили на горох на пугало, – и все это самым бесхитростным образом!.. Это черт знает как смешно! Что придумал, на что надеялся этот многонаивный польский человек Б. М., выставляя две начальные буквы своего имени? Он надеялся, что так он двум-трем лицам благонамеренно ткнет эту статейку и проворкует: «Это… эти Б. М. – это я, ваше сиятельство», а литературщики-де до имени моего не доберутся и не назовут меня, потому что не смеют. Бедный, бедный польский человек! Есть что сметь! Вот пусть-ка он теперь поведается с г. Незнакомцем и пошлет к нему доверенного, или… ну, да пусть, что хочет, делает, а только, наверное, не сделает ничего. Незнакомец же что захотел, то и расславил. Соединением усилий его труда, тайных разведок и таланта гг. Катков, Леонтьев, Б. М. и особенно бедный польский человек Болеслав Маркевич, пробравшийся в «Русский вестник» под именем Лесницына, – все они находятся теперь в прекомическом положении и должны иметь честь раскланиваться за это с своим таинственным Б. М. – Умен, тактичен, сведущ и талантлив!

Дело на сем пока кончено и рассказано вам, читатель, так, как оно было. Теперь потрудитесь сами себе ответить, насколько вся эта баталия убеждает вас в превосходствах классического образования, отстаиваемого г. Катковым, перед несовершенствами образования реального, защищаемого г. Стасюлевичем?

Впервые опубликована в «Биржевых ведомостях», 8 июня 1869 г.

Из мелочей архиерейской жизни

Число охотников выводить из всего диффамации у нас очень быстро увеличивается: в этом теперь преуспевают уже не только люди светского, но и духовного чина. Так, некто протоиерей Евген. Попов из Перми на этих днях издал книгу, в которой без стеснения разъясняет имена лиц, безымянно описанных в «Мелочах архиерейской жизни». Этот негодующий Евгений Попов, очевидно, «мнит службу совершити богу», а

может быть, и еще кому-нибудь другому. Он утверждает, что рассказы о простых явлениях архиерейского жития составляют самый яркий признак самого ужасного и вредного нравственного падения, которое стало возможно только для нашего времени, «когда грабят и стреляют». Да, да, это именно так и написано – рассказать, что у архиереев могут случаться капризы, а также могут быть желудочные катары, нельзя, не будучи причастным ко всей безнравственности нашего времени, «когда грабят и стреляют». Приблизительно в том же роде высказался насчет этих важных вопросов и «Церк<овный> вест<ник>», редактируемый профес<сором> Предтеченским. Оба эти просвещенные духовные писателя, то есть Попов и Предтеченский, принадлежащие одной и той же Петербургской духовной академии, «благоугождали всяко», доказывая, что спускаться в такие сферы, как обыденная жизнь архиереев, это сплетничество и небывалое покушение оскорбить «величавые фигуры». И Попову и Предтеченскому казалось, что это не бывало. Они прикинулись простачками и делают вид, будто совсем позабыли про «Записки Гавриила Добрынина», где во всех видах подробно и талантливо описан пьяный и своенравный архиерей Кирилл. Им дела нет, что это писано не в наше время, когда… и т. д. Впрочем, им непростительно забывать, что надо, на то они академические историки, чтобы знать, что спрятать и что сочинять для истории. Но вот, к немалому их удовольствию, неожиданно подают им новый случай поусердствовать и – кто же? «Русский вест<ник>», журнал самый благонамеренный. В вышедшей на сих днях октябрьской книге этого московского журнала мы находим следующие интересные, но не особенно «величавые» сведения об известном сподвижнике Платона (Левшина), московском архиепископе Августине (Виноградском).

«Преосв. Августин имел много превосходных качеств: он был весьма строг, но справедлив; консисторию держал в ежовых рукавицах, и белое духовенство, в то время грубое и распущенное, его трепетало. Он иногда по-отечески бивал своею тростью, а не то и руками» (629). «Поживи он еще год, мы увидали бы его московским митрополитом, но господь веку ему не продлил. И отчего он умер? Не знаю, многим ли это известно. Вообще говорили, что он скончался от чахотки. Это вздор: он был преплотный из себя, а ему придумали смерть от чахотки. Он умер просто-напросто от икры. Неприлично. Как будто и святые не умирали съеденные от зверей; мало ли какой случай может выйти. Тут конфузного ничего нет для святителя. Вот как это случилось. Преосвященному прислал кто-то в гостинец большую банку зернистой икры. В субботу либо в воскресенье ему подали мало ли икры, или вовсе не подали, только он, сидя уже за столом, потребовал, чтобы принесли. Келейник бросился на погреб опрометью и от поспешности поскользнулся, упал и разбил банку. Зная горячий и вспыльчивый нрав владыки, келейник не решился доложить ему о том, что случилось. Страха ради он выбрал самые крупные осколки стекла и подал икру на тарелке» (626). Августин «кушал торопливо, не замечая, что глотает мелкие кусочки стекла», и от этого заболел и умер. Следовательно, кажется, будет правильнее сказать, что великий святитель угас даже не от икры, как говорит цитируемый автор «Русского вестника», а просто – от мелкого стекла. Какая мелочь имела какое влияние.

Что же касается чахотки, которой не было и которая была придумана «преплотному» Августину ради приличия, то автор старается доказать это стихами, ходившими на счет этого святителя по рукам в Москве. Стихи же эти следующие:

Всем москвичам нам знать не худо,
Какие мы имеем чуда:
В Кремле стоит большой Ванюшка
И пребольшущая царь-пушка…
А чудо третье – Августин-Кадушка
И кроткая ханжа Марфушка (стр. 630).
Впервые опубликовано в газете «Новое время», 1879 год, 5 ноября.
<О романе «Некуда»>
Роман «Некуда» есть вторая моя беллетристическая работа (прежде его написан один «Овцебык»). Роман этот писан весь наскоро и печатался прямо с клочков, нередко писанных карандашом, в типографии. Успех его был очень большой. Первое издание разошлось в три месяца, и последние экземпляры его продавались по 8 р. даже по 10 р. «Некуда» – вина моей скромной известности и бездны самых тяжких для меня оскорблений. Противники мои писали и до сих пор готовы повторять, что роман этот сочинен по заказу III Отделения (все это видно из моих парижских писем). На самом же деле цензура не душила ни одной книги с таким остервенением, как «Некуда». После выхода первой части Турунов назначил г. Веселаго поверять цензора Дероберти. Потом велел листы корректуры приносить от Веселаго к себе и сам марал беспощадно целыми главами. Наконец еще и этого показалось мало, и

роман потребовали еще на одну «сверхъестественную» цензуру. Я потерял голову и проклинал час, в который задумал писать это злосчастное сочинение. Красные помогали суровости правительственной цензуры с усердием неслыханным и бесстыдством невероятным. У меня одного есть экземпляр, сплетенный из корректур, по которому я хотел восстановить пропуски хотя в этом втором издании, но издатель мой, поляк Маврикий Вольф, упросил меня не делать этого, ибо во вставках были сцены, обидные для поляков и для красных, перед которыми он чувствует вечный трепет. Теперь я уже охладел к этому, и третье издание будет печататься прямо с этого, второго.

Роман этот носит в себе все знаки спешности и неумелости моей. Я его признаю честнейшим делом моей жизни, но успех его отношу не к искусству моему, а к верности понятия времени и людей «комической эпохи». Покойный Аполлон Григорьев, впрочем, восхищался тремя лицами: 1) игуменьей Агнией, 2) стариком Бахаревым и 3) студентом Помадой. Шелгунов и Цебрикова восхваляют доднесь Лизу, говоря, что я, «желая унизить этот тип, не унизил его и один написал „новую женщину“ лучше друзей этого направления». Поистине я никогда не хотел ее унижать, а писал только правду дня, и если она вышла лучше, чем у других мастеров, то это потому, что я дал в ней место великой силе преданий и традиций христианской или, по крайней мере, доброй семьи.

Об аттестациях
(Заметка по поводу мыслей, выраженных в 4-м нумере «Северной пчелы»)
«Служить бы рад – прислуживаться тошно».

Грибоедов.
В прошлом году уже не раз заводили речь об обязательных аттестатах для наемной прислуги, но вопрос этот, как могильный огонек, мотнулся там и сям и замер. Согласия на введение у нас обязательных аттестатов не последовало, и явного отрицания не высказано.

Вопрос этот меня очень занимал, и, в последнее время имев случай познакомиться с правилами для найма прислуги, существующими в некоторых государствах Европы, я нашел в них очень мало пригодного к перенесению на нашу почву.

Нравы и обычаи нашей страны неудобны в настоящее время для их принятия. К тому же мне кажется, что все эти правила имеют один общий типический недостаток: они отлично отстаивают интересы нанимателей, но очень слабы для ограждения интересов нанимаемых. Только высокое уважение личного права, лежащее в основе характера английского народа, крепко ручается слуге за неприкосновенность его человеческого права, а во всех других странах, не исключая Франции, слуга вовсе не рассматривается как человек, входящий с своим нанимателем в определенные условия, как человек, продающий свой труд, а не свою личность, не свое право на известную гражданскую свободу. Но во Франции нынче положение слуг относительно недурно, оно много сноснее положения слуг в немецких землях и без сравнения лучше положения слуг в Царстве Польском, на которое с восторженным увлечением указывает автор польской хроники в «Северной пчеле». Хроникер с великою похвалою отзывается о служебных книжечках и аттестациях слуг и с едкостью, свойственною его даровитому перу, замечает политико-экономам их невежество, позволяющее отрицать пользу обязательных аттестатов для прислуги в России.

Я должен признаться, что не встречал политико-экономических сочинений, посвященных вопросу об аттестации слуг, и даже полагал, что некоторые из наших доморощенных экономистов думают иначе. Однако, полагаясь на слова польского хроникера «Северной пчелы», допускаю, что политико-экономы не отрицают необходимость обязательных аттестаций.

Обязательный аттестат – ужасное дело. Вспомните, как смирялся офицер, чиновник, когда ему говорили: «Я вам замараю аттестат!» Эти слова значили: «Я вас пущу без хлеба!» Ни больше, ни меньше они значат и для слуги, который будет скитаться с неодобрительным аттестатом. А мало ли какой человек что вздумает написать в минуту гнева? Судиться! Где же судиться? Какие представите вы опровержения, если я вам напишу: «груб, нетерпимого характера, дерзок, склонен к воровству сахара, невнимателен к исполнению поручений» и проч. Слуга живет с нанимателем в одном доме, а в одном доме живя, трудно иметь под рукою свидетеля на случай всякой придирки или клеветы. Случаи судебного разбирательства хозяев с прислугою в Англии (которые так часто описывает лондонский корреспондент «Северной пчелы»), показывают всю неизмеримость расстояния, отделяющего положение наших слуг от

слуг этой страны, где леди могут позвать в суд за то, что она назовет свою горничную дурой. Твердая основа этого положения лежит в силе общественного мнения, уважения личного права, в народности суда и закона, а не в прусских и тем менее в польских правилах.

Аттестаты могут существовать и у нас, как они существуют теперь, ad libitum,[6] и если они войдут в обычай страны, то я не полагаю, чтобы политико-экономы нашли основания противиться этому обычаю. Но пока они не составляют обычая нашей страны, зачем же нам сверху создавать положение, заставляющее седых Франсишек и Мацейков целовать руки, лишь бы эти руки не написали какой-нибудь закорючки?

Paris, 7-го марта 1863 года.
Post-scriptum. Я полагаю, что если бы в настоящее время лондонский корреспондент «Северной пчелы» занялся сообщением русской публике сведений о современных условиях и порядке найма домашней прислуги в Англии, то он сделал бы нам большое одолжение.

О раскольниках г. Риги, преимущественно в отношении к школам [7]

1863

Русские раскольники, имеющие некоторое понятие о рижской общине беспоповцев, представляют себе эту общину идеалом всестороннего благоустройства и желанной свободы.

Из раскольников ближе всех знакомы с рижскою общиною московские федосеевцы и беспоповцы поморского согласия, рассеянные по северо-западному краю России, Литве и Царству Польскому.

Общее желание раскольников устроиться во всех частях своего общественного быта по рижскому образцу рождает огромный интерес к ближайшему изучению этой общины, возбуждающей всеобщую зависть.

Эта симпатия рижским порядкам и молва о независимости образования раскольничьего юношества в г. Риге побуждают обратить внимание на рижскую общину, и потому нижеследующие сведения о ней будут, конечно, небесполезны.

Известно, что начало систематическому воспитанию малолетних раскольников в общественных школах положено московским купцом Ильею Васильевичем Ковылиным в первой четверти текущего столетия. Из истории Преображенского кладбища в Москве мы знаем, что «в одном из зданий этого кладбища было устроено Ковылиным училище, где мальчики с бойкими способностями обучались чтению и письму церковному под руководством наставника Осипова. Потом очередные наставники толковали им катехизис. Образование оканчивалось изучением главных пунктов отличия федосеевского учения от учения православной церкви. Для учеников была открыта кладбищенская библиотека, состоявшая из старопечатных книг и раскольничьих сочинений, которою они пользовались под руководством своих учителей».

Люди, имевшие возможность близко ознакомиться со старыми делами Преображенского кладбища, старались доказать, что «все образование кладбищенской школы было направлено к тому, чтобы внушить детям отвращение к церкви и церковникам-никонианам» (из истории Преображенского кладбища. Л. 44).

Принимая во внимание общие тенденции раскола и исключительную политику покойного Ковылина, нет оснований опровергать сделанный вывод о направлении Преображенской кладбищенской школы в самое цветущее время ее существования.

Познания в науках и искусствах, выносимые воспитанниками из этой школы, вообще были до крайности бедны. О науках, способствующих развитию самостоятельного мышления, в ковылинской школе не было и помина. В ней учили счислению, но и то слегка, настолько, насколько это необходимо по соображению русского лавочника. В искусствах шли тоже очень немного дальше. «Некоторые из членов кладбищенской школы приобретали замечательное искусство писать по-уставному и потом занимались переписываньем богослужебных книг, которые по дорогой цене продавались в конторе кладбища иногородным федосеевским общинам и зажиточным федосеевцам. Другие занимались иконописным искусством и делали копии с древних икон иногда так

удачно, что самые знатоки с трудом могут отличить копию от оригинала. Весьма искусно воспитанники умели подделываться и под древние рукописи, изменяя при том и самый цвет бумаги и соблюдая малейшие остатки древности».

В этом заключалось общественное образование в большой ковылинской школе на Преображенском кладбище, и в этом же оно заключалось во всех общинах федосеевского согласия в губерниях: Ярославской, Тверской, Нижегородской, Саратовской, Новгородской, Рижской, Казанской, Симбирской, на Дону и Кубани. Словом, во всех общинах, находившихся во время Ковылина в зависимости от Преображенского кладбища, – и иначе это не могло быть, потому что «все эти общины получали от кладбища наставников и покупали в его конторе свои книги».

В таком положении раскольничья педагогия дожила до воцарения императора Николая, при котором всякое проявление их общественности начало преследоваться со строгостью, от которой раскольники отвыкли во времена Екатерины II и Александра I. Суровые меры, предпринимавшиеся против раскола в царствование Павла Петровича, по кратковременности этого царствования, не стушевали начатков раскольничьего самоустройства в екатерининское время, но при императоре Николае все это пригнулось, спряталось, и к нашим дням не осталось уже ни одной открытой раскольничьей школы; даже и общинно-хозяйственное самоуправление местами вовсе исчезло, а местами замаскировалось так ловко, что изучение его представляет очень много трудностей для каждого человека, имеющего хотя какое-нибудь непосредственное сношение с правительством. Одна рижская община, благодаря своему отдаленному положению в Остзейском крае и другим более или менее благоприятным обстоятельствам, сохранила до сих пор свое отдельное хозяйственное самоуправление, имеет благолепную каменную молельню с четырьмя «духовными отцами», хором обученных крюковому пению певчих, больницею, домом для призрения дряхлых и общественною подгородною мызою Гризенберг. Но открыто существовавшую до 1829 года школу рижская община утратила. С этого времени и она обходится только секретными школами, устроенными в частных домах и существующими под великим страхом и великою данью у местной полиции.

Держась своего предмета, мы будем касаться прочих частей устройства рижской общины лишь настолько, насколько это необходимо для выяснения положения учебного вопроса. Прежде всего нужно сказать несколько слов о духе самого раскола в общинах рижской и псковской. Это совершенно идет к нашему предмету.

Тем самым, что раскольники Риги и Пскова со времен Екатерины находились в полной моральной зависимости от московского Преображенского кладбища, обыкновенно определяют дух их вероучения. Их до сих пор считают федосеянами или федосиевцами, т. е. последователями дьячка Крестецкого яма Феодосия, отделившегося от поморского согласия. Секта федосеевцев в истории русского раскола важна не менее секты поморской, следующей учению даровитых братьев Денисовых, распространявшемуся по России из Выгорецкой киновии. Обе эти секты признают благодать преемственного рукоположения исчезнувшею, считают господствующую церковь еретическою, отвергают духовенство как санктифированное сословие и, следовательно, отвергают возможность самой евхаристии. Разница между поморцами и федосиянами главным образом заключается в том, что поморцы допускают брак, освящая его благословением родителей и отца духовного, и молятся за царя «нужды ради» и «страха ради Самарина» – чиновника, производившего некогда следствие в Выгорецкой обители. Федосеевцы же не допускают брака и не только не молятся за царя, но и молящихся за него «поморян» в насмешку над трусостью перед Самариным называют не «поморянами», а «самарянами». Брак здесь отвергается прямо как последствие отвержения священства: «Венчать некому, – говорят, – да и время не то, – антихрист невидимо царствует, и настали дни, в которые не довлеет ни женитися, ни посягать», а за царя не молятся потому, что «он не благоверный», т. е. не старой, не благой веры: «сын ереси», «эллин», и, наконец, просто так не молятся, потому что не в обычае за него молиться. Это «так» замечается и у чистых верноподданейших поморцев, которые молятся за царствующего государя как «за власть предержащую», но за умершего молиться не хотят даже страха ради самаринского. Это одинаково относится ко всем умершим государям: Петру I, Павлу Петровичу, Николаю и особенно уважаемым всеми старообрядцами Екатерине II с Александром I, которых хотя они тоже не хотят назвать «благоверными», но всегда признают «благочестивыми».

Судя лишь по одним этим отличиям учения поморского от учения федосеевского, можно до некоторой степени объяснить себе причины правительственного неблаговоления к федосеевцам; но оснований и смысла преследования скромнейших и

верноподданейших поморцев, обижаемых властью и осмеиваемых за свое «самарянство» своими же братьями – раскольниками других согласий, понять невозможно. Это объясняется только разве крайнею неблаговоспитанностью православного духовенства и отсутствием в правительстве людей, знакомых с духом раскола.

Однако обе главные беспоповщинские секты: поморцы и федосеевцы в течение двух веков подвергались совершенно одинаким преследованиям гражданской и духовной полиции, и даже можно сказать, что наивным петербургским поморцам в предшествовавшее царствование часто доставалось гораздо больнее, чем федосиянам, московские вожаки которых отлично знали топографию домов некоторых влиятельнейших лиц александровского и николаевского времени.

Мы упоминаем об этом для того, чтобы заметить несообразность огульного закрытия разом всех первоначальных школ в общинах раскольников разных согласий. Мы не имеем основания опровергать заключений, сделанных о духе преподавания в школе Ковылина, где будто бы двумстам мальчикам внушалось «отвращение к церкви и церковникам-никонианам», но позволим себе, однако, указать на раскольничью генерацию, родившуюся при императоре Николае, когда уже не существовало зловредной ковылинской школы, да не было и вообще никаких раскольничьих школ. Генерация эта взросла в круглом невежестве и воспитала в себе сугубое «отвращение к церкви и церковникам-никонианам».

Зная из истории раскола нравственную связь рижских раскольников с московским Преображенским кладбищем, я не мог понять, как возникло у поморцев сочувствие к общине, приверженной к федосеевщине? и, выехав 12-го из Петербурга, не поехал прямо в Ригу, а остановился сначала в Пскове. Здесь, благодаря содействию одного моего товарища, я сошелся с купцом Васильем Николаевичем Хмелинским, человеком весьма здравомыслящим, очень богатым, большим ревнителем раскола и, кажется, несомненным другом властей а la Ковылин. Этот Меттерних «древнего благочестия» ни о ком не говорит худо: ни о православном архиерее, ни о властях, ни о «Колоколе» и его редакторе. У него все хорошие люди и все это выходит так ладно, что, например, и власти, обруганные в «Колоколе», как будто совсем правы, и «Колокол» как будто ни в чем не виноват. Так и до всего. За то г. Хмелинский у всех и в чести, и в милости, и в силе, и даже в славе. У раскольников он столп, за который все стараются держаться и который сами все подпирают. Отец его много пострадал за веру и, спокойно вынося все гонения, удержал своим примером других, изнемогавших под тягостью правительственного преследования. Сын идет дорогою своего отца. Здесь мне интересно было узнать: какой именно раскол держится в пределах псковских и что за учение у рижан. Я, разумеется, ждал встретить федосеевцев. Но при всех моих столкновениях и новых знакомствах с псковскими раскольниками рабочего класса, я не мог добиться: какого они держатся толка? Прямо на этот вопрос ни один из людей, с которыми я познакомился до встречи с Хмелинским, не мог дать мне хотя мало-мальски положительного ответа. Сначала я считал это лукавством, но потом убедился, что безграмотные раскольники, которых немало между псковичами, действительно ничего не знают о своем вероучении и ничего не могут сказать кроме как: «Мы, батюшка, по древлему благочестию». Оставленный в одной простой, весьма многочисленной раскольничьей семье с одними женщинами разных возрастов, я из разговоров с ними убедился, что имею дело и не с чистыми поморцами, и не с федосеевцами. Из всего мною слышанного от женщин выходило что-то странное, неновое и непонятное: не то федосеевщина, не то поморство. В Хмелинском я уже встретил человека, способного и, кажется, желавшего не только отвечать на все вопросы, но даже и спорить и совещаться. Благодаря ему для меня стали ясны многие прежде непонятные стороны симпатии поморян учреждениям рижской общины. Оказалось, что самые псковичи и рижане давно уже капитально разошлись с московскими федосеевцами и сблизились с поморством. Сближение это у псковичей последовало гораздо резче, чем у рижан, хотя и рижане уже называют себя «православными» или «староверами федосиевско-поморского согласия». Но в толковании рижан есть еще остатки федосиевских воззрений на брак, тогда как у псковичей взгляд на брак выработался гораздо чище, чем у самих поморцев. Последнее обстоятельство зависело от быстрого распространения здесь учения приходящего сюда из Пруссии инока Павла, против которого под носом у московской полиции в третьем году собирался в Москве в доме купца Морозова раскольничий собор. На этом соборе эмигрант Павел вел жаркие теологические споры с королевцами (раскольниками, принимающими священство) и препирался о браках с федосеевцами. По уверению одних, он защищался слабо, по словам же других, блистательно доказал чистоту своего учения. Но как бы там ни было, секретный собор, собиравшийся на Павла, не только не уронил его значения, но даже содействовал быстрейшему его успеху в общинах многих поморян и федосеевцев.

Федосеевцы, убеждаясь учением Павла, во многих местах начали признавать брачную жизнь нравственною и, следовательно, таким образом возвратились в лоно того же чистого поморства, от которого их оторвала распря дьячка Феодосия. Рижане же, до которых не дошло павловское учение, остаются при прежней смешанности федосеевских и поморских понятий о браке. Они допускают брак «по слабости человеческой», и акт обручения у них совершается в моленной при участии духовного отца, но женатый человек и замужняя женщина со дня своего брака теряют право молиться со всеми вместе, не могут стоять на клиросе и вообще как бы пребывают под вечною эпитимиею, что, по толкованию чистых федосеевцев и поморцев, равно отлучению от церкви. А под старость некоторые из них нередко заявляют намерение перейти «в девство», т. е. муж с женою прекращают всякие супружеские сношения и даже иногда расходятся жить в разные дома. Всего чаще в таких случаях муж поселяется в богадельне, а жена остается дома. Это единственный остаток федосиевского духа в рижанах. Неразлучным спутником федосеевского духа идет и своя доля федосеевского лицемерия. Так, напр<имер>, девственник, отправляясь в субботу в баню, заходит к жене «за веником» и остается с нею наедине, сколько ему угодно, занимаясь, чем угодно им обоим. Над этим смеются вообще все поморцы и особенно поморцы, наученные Павлом, поборником чистейшего брака и вообще чрезвычайно нравственным проповедником. Но уж где есть федосеевская мысль, там всегда есть и всякие ухищрения, оправдывающие или по крайней мере покрывающие «свободу восхождения жен на ложе мужеское». Следов же какого бы то ни было тайного вредного учения я не заметил во Пскове и знал хорошо, какого сорта люди будут моими новыми знакомыми в Риге.

Затем стояло на очереди дело о школах. Нет никакого сомнения, что в Пскове есть секретные школы, но мне их не удалось видеть, по причине неожиданного отъезда Хмелинского в Петербург. К тому же необходимость расспросов о самом духе псковского и рижского раскола, может быть, несколько вредила мне в мнении самого Хмелинского, хотя он, кажется, совершенно мне верил, водил в свою домашнюю моленную, принимал бесцеремонным гостем и подарил два томика сочинений Павла. Эти две книжки, напечатанные в Пруссии и привезенные контрабандою в Россию, были для меня дорогим приобретением. Они дали мне возможность близко познакомиться с замечательною личностью Павла и духом его учения.

Открыто существующих школ в Пскове было две; одна, весьма значительная, в доме купца Пыляева, а другая неподалеку от бывшей на берегу реки Псковы моленной, обращенной впоследствии под солдатскую музыкальною школу; но оба эти училища около 20 лет назад по распоряжению правительства закрыты или, как выражаются псковичи, «разорены властью сильных и безбожных». О преподавании, бывшем в этих школах, прямым путем узнать было ничего невозможно. Говорят одно, что «учили азбучке, цифирю», арифметике, часослову, петь по цолям (по солям), да и только. Два-три человека, с которыми я сошелся довольно близко, тоже ничего более подробного мне не сообщили. Оставалось одно средство: сходиться с состарившимися учениками уничтоженных правительством школ и с женщинами и «мастерицами», т. е. учительницами. В этом мне вполне посчастливилось. Но ни из самого близкого и самого бесцеремонного знакомства с бывшими учениками уничтоженных школ, ни из книг, по которым учились молодые женщины теперешнего поколения, я не видел, чтобы в псковских школах все образование было направлено к тому, чтобы «внушить детям отвращение к церкви и церковникам-никонианам». «Отвращение к церкви и церковникам-никонианам» существует у псковских раскольников в той самой мере, в какой эти чувства питают все беспоповщинские староверы поморского согласия; но это отвращение в молодых сердцах воспитывается вовсе не в школах, а в самой жизни. Несмотря на то что здесь, как и везде у раскольников, при обучении детей употребляются учебники, не одобренные правительством, в этих учебниках нет ничего возбуждающего неприязненные чувства к господствующей церкви. Это – буквари секретной печати (издаваемые в Польше, Познани и в какой-то казенной или, скорее может быть, в синодской типографии, не то в Москве, не то в Петербурге), старые часословы и старопечатные псалтыри. Буквари секретной печати почти сходны во всем с букварями, издаваемыми по распоряжению Синода для обучения грамоте детей раскольников, приписанных к единоверческим церквям. Даже некоторые учат детей и по букварям единоверческим. Что же касается до псалтыри и часословов, то, разумеется, они отличаются от употребляемых в господствующей церкви только несколько большим несовершенством перевода и тяжестью языка дониконовского времени. Никаких полемических выходок, никакого задора, порицания и глумления против учреждений господствующей церкви там нет, да и быть-то не может. «Отвращение к церкви и церковникам-никонианам» внушается раскольничьим детям прежде всего дома, матерями да бабушками, реже отцами родными и еще реже отцами духовными («батьками»). Потом смутно понимаемая ребенком разница

«древлего благочестия» от «новой веры» сознается им яснее при виде стеснений и гонений, воздвигаемых никонианами против «древлего благочестия». И затем уже сильное чувство бессильной ненависти воспитывается многочисленными сочинениями по истории преследований, предпринятых в течение двухсот лет для подавления невинного фанатического заблуждения. Этих сочинений, и печатных, и писанных уставом и полууставом (в чем искусны не одни ученики ковылинской школы), весьма много, и они-то доканчивают дело русско-христианского разъединения. Школы здесь ровно ни при чем. Весь процесс систематического озлобления раскольничьего юношества начинается для него до школы и оканчивается за нею. А чему учат в школах, то, снова повторяю, нимало не способно «внушать отвращение к церкви и церковникам-никонианам», да и книг таких, по дороговизне их, в школах нет, и учителя, выбираемые из «простецов» и людей самых плохоньких, слишком слабы, чтобы заниматься такой пропагандой. Кроме букваря, часовника и псалтыря, начал счисления, крюкового пения и письма уставом, ничему не учили в уничтоженных правительством псковских школах и ничему не учат у нынешних «мастеров» и «мастериц». Псковские раскольники очень сильно мечтают о разрешении им учредить для своих детей отдельную школу, но у них нет никакого определенного представления о том, как учредить эту школу и чему в ней обучать. При всех условиях поставить псковского поморца в необходимость дать более или менее ясный ответ о его соображениях насчет школы, можно добиться только одного, что школа должна быть отдельная, что раскольники не могут позволить своим детям мешаться с «нововерами» и что их детей нужно учить непременно по старым книгам. А учить «по старым книгам», как я уже сказал, это значит учить букварю, псалтырю да часовнику. Раскольники вообще очень любят вздыхать и плакаться на свое невежество, ставя его, разумеется, в прямую вину правительству и духовенству господствующей церкви; но, в сущности, и у них самих-то не замечается ревности к образованию своих детей. «Всему надо бы, говорят, учить понемножку; много нам не требуется по нашему сословию, а понемножку бы следовало». Живая русская сметка вслух подсказывает хранителю «древлего благочестия», что непроглядная тьма фанатического заблуждения и нелепого буквоедства не выдержит животворящих лучей просвещения. Раскольник страшно боится этого света. Он желает выбрать из массы научных знаний для своего юношества исключительно лишь те, которые бы дали молодому раскольничьему поколению средства быть поспособнее к ловкому обделыванию дел с людьми современного развития, но самого человеческого развития раскольник ужасается более Страшного суда и даже более потери полтинных барышей на рубль, дающих средства покупать продажную совесть «случайного человека». Можно утвердительно сказать, что если дело школ предоставить самому «древлему благочестию», без педагогической инициативы министерства народного просвещения, то в этих школах будут учить только тому же букварю, часовнику и псалтырю, да разве прибавят малую часть арифметики, так как это нужно по торговой части, и еще, пожалуй, научат немецкому языку, потому что он также нужен по торговой части. Но ни географии, ни истории, ни, Боже упаси, физике и другим естественным наукам ни за что учить не вздумают, так как все это, по их мнению, вовсе не нужно. Да не говоря об этих науках, даже все мои усилия доказать необходимость изучения ребенком библейской истории прежде скучного часовника и вдохновенных, но непонятных ребенку поэтических воздыханий Давида обыкновенно оставались безуспешными. У них есть несчастный, чисто католический взгляд, что «рабу» вовсе не нужно знать евангелия и даже «не достоит чести его в доме», а ему следует только молиться, и поэтому часовник с псалтырем нужнее всего.

В Пскове есть один духовный отец («батька»), живущий под секретом и служащий, как мне кажется, в небольшой, но прекрасной домовой молельне Хмелинского, ибо общественная молельня тоже правительством уничтожена. Я не мог побеседовать с этим отцом, потому что его не было в городе. В среде же его паствы (не говоря о Хмелинском) я встретил невежество, поражающее, ставящее в тупик и преисполняющее глубокого сожаления к этим людям, бродящим с непроницаемою повязкою на глазах. Ни истории Ветхого Завета, ни новозаветных событий, ни истории собственного раскола и разницы его с другими ветвями староверства почти никто не знает. «Мы по-старому», да и все тут. Вот образчик, до чего простирается здесь раскольничье невежество: мне удалось сойтись с одним здешним умником, начетчиком, человеком лет 40 или 45. С первого взгляда мне показалось, что я имею дело с узколобым фанатиком, зачитавшимся так называемых в древнем благочестии «толстых книг». Умник тотчас начал вызывать меня на решение теологических вопросов, разумеется, давно решенных им по его «толстым книгам», и срезал меня. Говорили мы о Никоне, о сугубой аллилуие, о имени Иисусовом, – во всем я оказался сведущим. «Ну да, – говорит мой искушатель, – а что как вы о мирском имени Христовом разумеете?» После моих усилий разъяснить себе предложенный вопрос, оказалось, что у Христа есть еще какое-то мирское имя. Я говорю: Иисус.

– Ну это одно.

– Христос.

– И это так, а еще?

– Еммануил, еже есть сказуемо с нами Бог, – говорю я.

– Нет, мирское-то, мирское? – добивается мой умник. Ничего я не мог придумать и, сознавая свою несостоятельность, просил открыть мне это мирское имя Иисуса Христа. Оказалось, что, по сведениям моего экзаменатора, Христа звали еще «Яковом». Отчего же это? Где на это указания? Да очень просто. В тропаре поется: «яко бо прославися», из этого сделано «Яковом прославился». Впоследствии я слышал это сказание еще от двух крестьян, из которых один был прядильщик из Орловской губернии. К довершению должно сказать, что со времени уничтожения школ в среде псковских раскольников завелось много безграмотных, и если бы здесь не Павел со своим апостолом Хмелинским, то псковская община, кажется, давно была бы способна выкинуть такую же штуку, какую отлили тысячи пермских поморцев, обращенных одной бабой из брачащегося поморства в безбрачную федосеевщину. Продажность и неспособность полиции, благодаря которым умный инок Павел может навещать покинутое отечество, произвели противное. В Пскове брачатся, молятся за царя и даже нелицемерно его любят, говорят о нем со слезами, но ждут от него очень многого и прежде всего полной свободы совести, молелен, школ и прочего.

О предметах преподавания, как я уже сказал, мне было нечего говорить, и я стал заводить речь об учителях. На этот предмет у раскольников взгляд очень ясный, и они здесь показали себя людьми довольно сговорчивыми. Прежде всего им, разумеется, желательно иметь в своей начальной школе своего (т. е. раскольника же) и учителя. Но рядом систематически приведенных доказательств, что у них нет людей, способных выдержать экзамен хотя бы на звание приходского учителя, а без экзамена учителя нельзя допустить, мне удалось вызвать их на раздумье. Конечно, прежде всего вышло, что это не их вина, что «это все власть наделала», но когда я, устраняя причины, ставил только факт, существование которого изменить уже нельзя и с которым, однако, надо что-нибудь поделать, то высказалось такое мнение: «Учителя можно принять и православного, лишь бы по нашему выбору, а попа чтоб духу не было».

Так как это мнение сильно поддерживает Хмелинский, то я не сомневаюсь, что этого же мнения будет держаться вся псковская и все окрестные общины, и будут они этого держаться с тою же настойчивостью, с какою они при отце своего патрона держались веры, которую в то время мучили. О соединенных же школах вместе с православными здесь и слышать не хотят и наотрез говорят, что «детей не пустим». По моему мнению, о таких школах нечего даже и думать. Это будет новая прибавка к длинному ряду печальных полумер, раздражающих народные инстинкты и возбуждающих ропот и неудовольствие в людях, преданных правительству и ожидающих от него великие и богатые милости. Впоследствии я еще более убедился в этом не только из столкновений с раскольниками, но и из разговоров с генералом Ливеном и жандармским полковником Андреяновым.

Этим оканчиваются мои разведки в Пскове, который я по счастливой догадке сделал преддверием моего вступления в немецкий город русского царства.

–

Раскольники считают в Риге около десяти тысяч беспоповцев поморского согласия. Это единственный остаток повсюду скрытого и запаханного староверского общинно-хозяйственного управления. Рижский штаб-офицер корпуса жандармов, между прочим, объясняет крепость здешних общинных учреждений тем, что в Лифляндии со стороны гражданского начальства не было заявлено особенно ревностного содействия духовенству к искоренению раскола. «Эта мера, – говорит полковник Андреянов о взаимодействии светской и духовной властей по преследованию раскола в Лифляндии, – менее чем где-либо достигается, ибо представители власти повсюду неправославные, не питающие никакого сочувствия к православию, напротив, – сострадающие по принципу веротерпимости лютеранской церкви раскольникам, людям промышленным, трудолюбивым и воздержанным».

Я не имею довольно дерзости, чтобы сомневаться в основательности соображений,

изложенных рижским жандармским штаб-офицером, но не могу не указать на раскольников г. Дерпта. Они живут среди того же самого веротерпимого и сострадающего угнетенным за веру людям лютеранизма, среди которого живут и рижские раскольники, но давно утратили самостоятельность, и поныне чудесным образом сохраненную рижанами. Конечно, лютеранское равнодушие к доходам приходского духовенства, консисторий и архиерейских контор господствующей церкви значит очень немало, но одним лютеранским индифферентизмом и веротерпимостью вряд ли возможно объяснять сверхъестественное сохранение рижскою общиною всех принадлежащих ей ныне прав и всех ее учреждений.

Благодаря тому что в настоящем случае нет надобности выяснять и доказывать все соображения насчет чуда, представляющегося нашим глазам в виде рижской раскольничьей общины, я только считаю нужным упомянуть еще, что в этой общине есть довольно свободное и весьма нелепое хозяйственное управление, свой независимый от правительственного контроля капитал, растрачиваемый нередко весьма глупо и гнусно, по произволу выборного попечителя, распоряжающегося этим капиталом с патриархальным деспотизмом, разное недвижимое имущество, представляющее живой образец страшнейшей безалаберности русского общинно-хозяйственного управления, четыре отца; около тридцати человек певчих, множество всякого «Божьего благословения» и содомская бездна содомской мерзости, дьявольского бесстудия и человеческого нечестия. Засим, нимало не распространяясь, как орудует всем этим рижская община, возвращаюсь к школам.

Той школы, которой так завидуют петербургские поморцы и с которою я должен был знакомиться в Риге, здесь вовсе нет, да нет здесь вообще и никакой школы, дозволенной правительством. Смотря на эту большую и сильную десятитысячную общину с официальной точки зрения, выходит, что у нее с 1829-го года не было никакого общественного учения, ибо с этого года и школа, существовавшая при гребенщиковском заведении, и частная школа Дмитрия Трофимова Желтова закрыты, а вместе с тем и строго запрещено кому бы то ни было заниматься обучением раскольничьих детей в отдельном помещении. С тех пор правительство было успокаиваемо, что тринадцать тысяч его русских подданных, поселенных между немцами, не имеют ни одной русской школы и коснеют в чудовищном невежестве в срам и поношение русского имени. Во все время управления Остзейским краем князя Суворова в Риге не было ни одной раскольничьей школы, а в смешанные школы староверы не посылали своих детей и учили их кое-как, по два, по три. В существе, раскол от этого ничего не потерял, потому что дети более или менее состоятельных родителей в это время выучивались тому же самому, чему учили в гребенщиковской школе; но, кроме того, в это же время молодые раскольники приняли двойную дозу снадобий, возбуждавших ненависть к притесняющему их правительству и презрение к усердным исполнителям его суровых велений. Бедность же, которую в прежнее время, по местному выражению, «подбирали с улиц в гребенщиковскую школу» и которую забирал простосердечный, честный и нынче в самой даже Риге всеми позабытый Дмитрий Желтов, осталась на улицах русского предместья, рассыпалась по рвам, мостам, кабакам и публичным домам. Современно с закрытием гребенщиковской школы в «винкерах» русского форштата двенадцатилетние и даже десятилетние русские девочки начинают во весь развал заниматься проституциею; проезд по форштату затрудняется массою ворующих мальчиков; дети устраивают воровские артели; полиция под предводительством полицмейстера Грина на них несколько раз охотится; детей ловят, и они поступают под опеку правительства, по распоряжению которого их записывали в кантонисты, а в канцелярии генерал-губернатора растет толстое «дело по предложению об уничтожении в Риге праздношатательства малолетних детей, именуемых карманщиками» (началось 11 июля 1849 года и окончено 23 августа 1857 года, по описи № 151-й). Наконец, голодные и беспризорные мальчики начинают заниматься торговлей, неслыханной в русском народе: является педерастия. Когда я сказал, что русское предместье Риги полно содомской мерзости, я не был ни под каким увлечением, и теперь, говоря, что вся эта мерзость находится в непосредственной связи с закрытием школ, в которых учились раскольники, я говорю только правду. Если же я сколько-нибудь ошибаюсь в этом, то уж наверно ни на волос не ошибаюсь в том, что при открыто существующих школах рижцы не находили бы нынешнего самоуслаждения показывать на пьяное молодое поколение «древнего благочестия», в десятилетнем возрасте развращенное до конца ногтей и до ран первичного сифилиса. По крайней мере, тогда нельзя было бы, указывая на безвременное растление и погибель детей, приговаривать: «Вот до чего нас довело правительство!», а продолжение Иродовой работы по избиению младенцев пришлось бы частию брать и на себя, на совесть пресловутого общественного попечения.

Излагаем засим, что нам стало известно из дел генерал-губернаторского архива и их рассказов рижских старожилов об уничтоженной правительством школе при гребенщиковском заведении.

Раскольничья школа существовала в Риге при так называемом гребенщиковском заведении, где она помещалась вместе с больницею, приютом для требующих общественного призрения, большою моленною, певческою и кельями духовных отцов. Заведение это в то время состояло в ведомстве Рижского приказа общественного призрения, школа на общих основаниях подчинялась надзору местного директора училищ, а учителем в ней был шкловский мещанин Емельянов, обучавший детей чтению, письму и арифметике.

Из представления рижского гражданского губернатора г. Егора фон Фелькерзама генерал-губернатору барону Палену от 15-го августа 1830 года за № 72-м видно, что «мещанин Дорофей Дмитриев Емельянов имел от губернского директора училищ свидетельство, выданное 28 сентября 1828 года за № 649-м, на право преподавания в первоначальной школе».

Правительство не обращало на эту школу никакого внимания со дня ее основания, почти современного основанию самого гребенщиковского заведения, до 1830 года, и история школы во весь этот спокойный период вовсе не занимательна. Наибольший интерес она представляет не как педагогическое учреждение, а как приют, в который «подбирали с улиц» бедных детей. В ней учили чтению, письму да арифметике и потом обученных всему этому мальчиков пристраивали в лавки к торговцам или в ученики к ремесленникам, а из голосистых формировали хор для молитвенного пения. Из разговоров с бывшими учениками гребенщиковской школы, из которых иные уже оставили раскол, я убедился, что в этой школе, а равно и в школе Желтова, была та же программа, что и в псковской школе. Умнейшие из раскольников, способных мало-мальски оценить достоинства этих школ, не выражают никакого сочувствия ни к их курсам, ни к методам преподавания. Но и они неутешно сетуют о ней, как об учреждении, чрез которое ныне погибающие «карманщики» все-таки могли делаться людьми, способными зарабатывать кусок хлеба простым, мало благодарным и очень тяжелым, но честным трудом. О какой-нибудь политической пропаганде или о стремлении внушить ребенку в школе ненависть к господствующей церкви, как было будто у Ковылина, здесь и не помышляли, а учили своим «оксиям» да «овариям», пока сами не получили последней конечной аварии.

Как и с какого повода в Петербурге вспомнили о рижской гребенщиковской раскольничьей школе, я не мог добиться в делах рижского генерал-губернаторского архива. Старик П. А. Пименов, служащий нынче попечителем, говорил мне, что обществу вздумалось, будто бы, попросить правительство не то о субсидии для школы, не то о расширении ее программы, и эта-то просьба и была причиною гибели школы. В какой степени это верно, отвечать не могу, но как бы там ни было, а из дел архива видно, что Лифляндский, Эстляндский и Курляндский генерал-губернатор и попечитель Дерптского учебного округа барон фон дер Пален в августе 1830 г. нашел себя обязанным «довести до Высочайшего сведения: с чьего дозволения заводит школы совет Рижского старообрядческого общества? Какие учители находятся в означенных школах? И имеют ли они законное на то право?»

Барон Пален, будучи попечителем учебного округа, в котором находилась школа, нашел сообразным затребовать нужные ему о ней сведения от рижского гражданского губернатора Егора фон Фелькерзама. Г. фон Фелькерзам, хотя и не обязан был ведать дела школы ближе попечителя, отрапортовал ему, однако (15-го августа 1830 г. № 72), что «совет Рижского старообрядческого общества ныне вновь никаких школ не заводит, а содержит школу при молельне и богадельне своей с самого основания последних, в которой воспитанием детей руководствуется назначениями, изображенными в правилах, утвержденных 20 февраля 1827 г. предместником барона Палена для управления богадельни, больницы, сиротского отделения и школы Рижского старообрядческого общества, гл. 12, ст. 22, § 114–125 о сиротах, новорожденных и подкидышах и гл. 13, ст. 23, § 125–140 об обязанностях учителя, с которых (очевидно, не с обязанностей, а с правил) выписка представляется».

Вот выписка из этого интереснейшего и редкого документа:

ВЫПИСКА
Из правил на управление богадельни, больницы сиротского отделения и школы рижского старообрядческого общества, утвержденных 20-го февраля 1827 года

Глава двенадцатая

Статья 22

О сиротах, подкидышах и новорожденных

§ 114

«Принимаемых в богадельню воспитанников до 8-летнего возраста распределять между богаделенными женского пола, наиболее здоровыми и хорошего поведения, внушая им за ними иметь бдительное смотрение, радея об них, как то родители о своих собственных детях, учинить обязаны со всею осторожностию и человеколюбием. О таковых принимаемых воспитанниках равным образом объявлять каждый раз полиции и сверх того вести об них с большею точностию книгу, замечая в оной, какого именно они вероисповедания».

§ 115

«Новорожденных от женщин, принимаемых в богадельню беременными, оставлять при матерях. Как о сем, так и вообще о принимаемых новорожденных не токмо вести особый список, но и объявлять об них полиции с показанием, какой религии их родители, если оные известны».

§ 116

«По староверскому обряду можно воспитывать таких только детей, коих родители принадлежали к старой вере, всех же прочих детей по тем религиям, в коих состояли родители их. Если же о родителях будет неизвестно, в таким случае младенцев крестить и воспитывать по обряду греко-российской церкви».

§ 117

«Если разрешившаяся от бремени женщина тотчас после родов желает оставить богадельню, то обязана новорожденное дитя свое взять с собою; если ж желает остаться в богадельне на время и до отнятия дитяти от груди, то сие дозволять ей можно, но по прошествии такого времени, и если она здорова, то должна, по крайней мере, сама выходить из богадельни для снискивания себе пропитания своими трудами, а малолетнее дитя, буде брать с собою не желает, воспитать в богадельне и отдавать на попечение одной из богаделенных наиболее здоровой и хорошего поведения».

§ 118

«Всех сих сирот снабжать от богадельни всеми потребностями».

§ 119

«Воспитательницы, попечению коих таковые малолетние сироты вверяются, не токмо не должны их пренебрегать или изуродовать, но напротив того, с материнскою любовию пещись об них, как были бы их дети собственные, всякий день поутру и ввечеру до почивания умывать им лице и руки, а поутру вычесывать им волосы и вообще содержать их в чистоте и опрятности, белье переменять еженедельно, а если понадобится, и чаще и смотреть, чтоб платье и обувь всегда были целые и чтоб младенцы не ходили босиком, особливо на двор или на улицу. Наблюдение за сим возлагается и на попечителя».

§ 120

«По достижении двухлетнего возраста каждому дитяти прививать предохранительную оспу в назначенное к тому врачом время, не оставляя отнюдь никого из оных без прививания, предпринимая оное и с теми, кои поныне выше тех лет и привиты еще не были или же не имели натуральной оспы».

§ 121

«Для изучения прививания предохранительной оспы тотчас выбрать одного или двух оказывающихся к тому способными из прислужников богадельни и отдать таковых для изучения к врачу или же определить для сего изученного прививанию по испытанию и

назначению врачом».

§ 122

«Привитых оспою перемещать в особую комнату, отдельно от всех прочих здоровых и еще не привитых, дабы последние от первых не были заражаемы».

§ 123

«По достижении младенцев обоего пола восьмилетнего возраста отдавать их в школу для обучения чтению, а младенцев мужского пола и писанию, и арифметике, по крайней мере первых пяти правил или специй» (?!).

§ 124

«По достижении двенадцатилетнего возраста обучать их в религии, заставлять их несколько часов каждодневно читать Священное писание и обучать во всех отношениях различать добро от зла; истолковывать им несчастные последствия от злых, а хорошие от добрых деяний и, предостерегая от первых, соделать их тем полезными гражданами и сочленами гражданского общества. Сверх того, таковых, достигших 12-летнего возраста, отдавать купцам для обучения торговле, или к ремесленникам, или к земледельцам, или же во услужение, чтоб, с одной стороны, они могли приобрести познания, нужные для полезного общежития и приобретения промышленности, а вместе с тем и обеспечивающие их будущее существование; с другой же стороны, чтоб заведение освободилось от содержания не нуждающихся более в пособии».

Глава тринадцатая

Статья 23

Об обязанностях учителя

§ 125

«Учитель имеет обязанность наблюдать, чтобы все в предыдущих параграфах назначенные правила насчет содержания малолетних сирот и детей были выполняемы со всею точностию».

§ 126

«Он, как учитель и воспитатель юношества, должен пещись об образовании оного прилежным обучением и внушениями нравственных и человеколюбивых правил и тем соделать их полезными сочленами гражданского общества».

§ 127

«Ни одно дитя без матери или воспитательницы не должно быть выпускаемо из заведения, и за сим смотреть и строго наблюдать учителю».

§ 128

«Школьники должны являться в школу, кроме праздничных и воскресных дней, каждодневно по утрам с апреля месяца и по октябрь в семь часов, а с октября месяца и по апрель в восемь часов; пополудни же в час и пробыть в школе до полудня по двенадцатый час и пополудни до седьмого часу.

Если ж школьники будут не из богадельных жителей, в таком случае время прихода их в школу остается вышеназначенное; для выхода определяется: с апреля по октябрь в 5 часов, а с октября по апрель в 4 часа вечера».

§ 129

«Учитель должен вести верные списки не токмо ученикам своим, но и всем детям, находящимся в богадельне, не достигшим еще учебного возраста, не касаясь в том до обязанности попечителя, ведущего по себе списки о всех жителях, в богадельне и больнице находящихся».

§ 130

«По достижении из малолетних осьмилетнего возраста он настаивает об отдаче их в школу для обучения».

§ 131

«В школе дети мужеского пола не должны сидеть вместе с таковыми же женского пола, а иметь каждому полу особые скамейки. Равномерно не должны и жительствовать вместе, а иметь каждому полу свои отдельные покои».

§ 132

«Каждый раз по приходе в школу и по окончании учения учитель с учениками своими совершает молитву по обряду христианства».

§ 133

«Дети должны обучаться в означенных науках по § 123 сего положения, дети же женского пола в свободные часы и в рукоделиях».

§ 134

«Из обучающихся в школе детей, подчиненных во всем учителю, без ведома его никто ни в какое время из заведения отлучаться не смеет, и в том даже попечитель не должен употреблять своего влияния, ибо за поведение школьников отвечает один учитель».

§ 135

«В свободные от учения часы и в хорошую погоду он сам водит их на прогулки, но наблюдает, чтобы шли смирно и тихо и никто никуда не отлучался».

§ 136

«К родственникам никого из обучающихся детей не отпускать иначе, как ежели сами родственники придут за ними, и то только в праздничные дни и с дозволения учителя».

§ 137

«По окончании наук как учители, так и попечители стараются приготовленных детей отдавать к добрым хозяевам во услужение, кто к чему способным окажется, с подпискою, что принимаемых к себе во услужение употреблять будут в честные и добрые занятия и удерживать от всяких непозволительных поступков».

§ 138

«Выпуск детей разрешает совет и записывает всякий раз в журнал, в который и заносит имя взявшего кого к себе во услужение».

§ 139

«О каждом выпуске, как равно и о каждом новорожденном и подкидыше от совета в тот же день посылается объявление в полицию с испрошением для последних узаконенных видов».

—

Не могу объяснить, какие соображения возникли в Петербурге по поводу представления, сделанного бароном Паленом после собрания этих сведений, но в июле 1832 года попечителем Дерптского учебного округа получена из министерства народного просвещения бумага следующего содержания:

«Г. министр внутренних дел, по Высочайшему Государя Императора повелению, по делу о рижских раскольниках и их заведениях, сообщил мне, что раскольническая школа в Риге не может существовать в настоящем ее положении, ибо учреждена в противность начал, на коих заведены народные школы, и управляется учителем из

шкловских мещан, раскольником, между тем как постановлением 1820 года воспрещено выбирать из раскольников в общественные должности, а потому еще менее можно допустить раскольнику быть наставником юношества, чтоб вследствие сего я принял меры закрыть оное училище на основании изданных по сему предмету узаконений и не иначе дозволил учредить вновь школу в Риге, как по уставу уездных и приходящих училищ, 8 декабря 1828 года Высочайше утвержденному, хотя оный устав и не распространен на Дерптский учебный округ, но приличнее уравнять школу сию с другими подобными в государстве, ибо она может быть в Риге и даже во всем округе одна такая школа».

К сему г. министр внутренних дел присовокупляет, что «находящиеся в означенной раскольнической школе малолетние круглые сироты мужского пола, как могущие остаться без призрения, вследствие Высочайшего повеления будут определены в Рижский батальон военных кантонистов».

«Во исполнение сего Высочайшего Его Императорского Величества повеления покорнейше прошу ваше превосходительство сделать надлежащие распоряжения о закрытии существующей в Риге раскольнической школы и о недозволении вновь учредить школу в Риге иначе, как на основании Устава уездных и приходских училищ, 8 декабря 1828 года Высочайше утвержденного, не допуская ни под каким видом, чтоб учителем в оной был назначен раскольник». Подлинное подписал: министр народного просвещения генерал от инфантерии князь Карл Ливен (23 июня 1832 года № 742).

Барон Пален как генерал-губернатор и попечитель учебного округа возложил исполнение этого распоряжения на того же губернатора фон Фелькерзама.

Г. Егор фон Фелькерзам взялся за дело энергически и 17 октября 1832 года (№ 281) донес попечителю следующее:

«Во исполнение сей Высочайшей воли бывшая прежде раскольничья школа закрыта, и старшины здешнего старообрядческого общества на общем совещании сего предмета в присутствии губернского директора училищ и рижского полицмейстера изъявили готовность устроить означенную школу на точном основании вышеприведенного устава и представить в оное учителя не из раскольников к губернскому директору училищ на испытание.

Как исполнение сего со стороны их замедлилось, то я 24 минувшего сентября предписывал рижскому полицмейстеру понудить старшин к исполнению их обещания с тем, что если в течение 8 дней оно не будет исполнено, то подвергнутся строгой ответственности.

Ныне попечители убогого заведения рижского старообрядческого общества представляют мне, что общество отказало в выборе учителя в их школу не из раскольников потому, что, якобы, не имеет способов производить ему нужное содержание и определило закрыть лучше сию школу вовсе.

А как учреждение сей школы на основании устава уездных и приходских училищ и определение в оную знающего учителя не из раскольников требуются по Высочайшей воле, то от меня предписано вместе с сим рижскому полицмейстеру объявить старообрядческому обществу, что если они сами не изберут такового учителя, то он будет назначен в школу по выбору губернского учебного начальства, а именно на их счет, потому что школа сия учреждается единственно для их и общества, в таком случае будет сделана на них раскладка».

Но энергия лифляндского губернатора, столкнувшись с непреклонностью русского раскола, не имела желанного в Петербурге успеха. Дело тянулось; барон Пален настаивал на немедленном выполнении петербургских требований у г. Егора фон Фелькерзама, г. Егор фон Фелькерзам в свою очередь понуждал полицмейстера, а полицмейстер подшпоривал общественных старшин, и, наконец-то, 18 ноября 1832 года последние подали полицмейстеру нижеследующее требованное покорнейшее объяснение:

«Его высокоблагородию, господину рижскому полицмейстеру подполковнику и кавалеру Ивану Павловичу Вакульскому 2-му от попечителей убогого и больничного заведения Рижского старообрядческого общества требованное покорнейшее объяснение.

Ваше высокоблагородие изволили требовать, чтобы мы объяснились о том, сколько в

случае, если наше старообрядческое общество желает иметь школу в нашем убогом заведении, можно определить на покупку книг, жалованье учителю, ежегодное содержание и прислугу особую, приличную для учителя квартиру и чем можно обеспечить впредь такой доход.

Ссылаясь на поданное уже 14 октября его превосходительству господину лифляндскому гражданскому гебурнатору покорнейшее представление, имеем мы честь представить Вашему высокоблагородию еще следующее:

Для исполнения вышеписанного Вашего требования созывали мы еще 24 октября и 16 числа сего ноября членов старообрядческого общества и, сообщив им упомянутое требование, приглашали их объявить свое намерение касательно содержания школы в сем убогом заведении с объяснением или назначением: из каких источников можем мы получить нужные средства на исправление вышеозначенных расходов к содержанию школы и учителя, как поступающие в сие убогое заведение добровольные подаяния имеют назначенной целию единственно призрение и продовольствие содержимых в сем заведении убогих и больных и недостаточны даже на сии необходимые потребности; бывшее же доселе в сем заведении обучение членов старообрядческого общества и вероисповедания нескольких бедных старообрядческих детей первоначальным основаниям грамоты по древнепечатным духовным книгам происходило из усердия безденежно, не причиняя сему убогому заведению дальнейших расходов».

На сие бывшие в собраниях члены старообрядческого общества, ссылаясь на изложенные уже в вышеупомянутом нашем представлении его превосходительству от 7 октября обстоятельства, объявили, что «если не благоугодно будет высокому начальству дать или исходатайствовать нам в вышнем месте позволение продолжать в сем убогом заведении обучение грамоте старообрядческих детей избираемым из сего же общества и вероисповедания членом в силу Высочайшего указа от 8 декабря 1828 года под надзором губернского господина директора училищ по-прежнему безденежно, и изображенным уже в представлении нашем образом и порядкам, то старообрядческое общество не желает вовсе иметь в нем школу на ином основании, а для обучения детей своих грамоте и наукам будет пользоваться предоставленными каждому сословию и партикулярным лицам способами: посылать детей своих по удобности для каждого обывателя в рассуждении жительства и других обстоятельств в народное Екатерининское и другие общественные училища и в партикулярные школы.

Сверх же сего будем мы посылать и находящихся в сем убогом заведении до десяти сирых детей для первого обучения грамоте в приличную из состоящих в здешнем месте школ.

Имея честь донести о сем по требованию Вашего высокоблагородия, с высокопочитанием пребываем,

Вашего высокоблагородия

покорнейшие

попечители старообрядческого убогого заведения:

Иван Игнатий Лисицын

Андрей Семенов Пуговишников

Павел Данилов

Никон П. Волков

Павел Егоров Леонтьев.

Рига, 18 ноября 1832 года».

Обстоятельство это поставило губернатора г. Егора фон Фелькерзама в положение довольно затруднительное. Он не выразил никакого собственного мнения, что бы следовало сделать в настоящем случае, а предоставил приведенное мною «требованное покорнейшее объяснение» барону Палену (24 ноября 1832 года № 292) «на благоусмотрение», докладывая, что он, г. Еор фон Фелькерзам, будет иметь честь ожидать предписания.

Конец концов был тот, что, не стесняясь правилами, утвержденными для рижской общины генерал-губернатором маркизом Паулуччи, школу гребенщиковского заведения закрыли, а новой, устроенной сообразно общим правилам, раскольники не приняли.

Результаты этого распоряжения были многоразличны и многообильны самыми разнообразными последствиями. Раскольники, разумеется, обманули правительство, уничтожившее их школу и предложившее им завесть другую с православными учителями. Чтоб отвязаться от докучных придирок, раскольники обещали посылать детей в общие школы и не посылали их туда. Шесть-семь человек, так сказать, раскольничьих аристократов и полунемцев составляют слишком незначительное исключение, да и те послали детей не в русские училища, куда ходят дети православных, а в частные школы к немцам. Гонимые своими православными соплеменниками, и эти раскольники скорее обращались к немцам, более полагаясь на их лютеранский индифферентизм, чем на веротерпимость русского православия. Правила маркиза Паулуччи упразднены весьма оригинальным образом. Они были вытребованы для дополнения и не возвращены.[8] Вместо них даны новые правила, устранявшие прежнюю коллегиальность общинного правления и сосредоточивавшие все в руках одного попечителя, имеющего за плечами у себя другого попечителя от правительства. Бедные дети стали болтаться без всякого призора, предаваясь с самого раннего детства крайнему разврату. Община с ужасом смотрела на страшную картину и ясно предвидела еще худшую, но все-таки оставалась непреклонною. Детям открывалась широкая дорога к гибели с каторгой в перспективе; но их охотнее выпускали на эту печальную дорогу, чем в православную школу.

В 1849 году деморализация раскольничьей молодежи в Риге достигла апофеоза. 30 апреля 1838 года последовало повеление об обращении в кантонисты сирот, бывших в упраздненной школе, а 11 июля 1849 года князь Суворов просил бывшего министра внутренних дел Л. А. Перовского «ходатайствовать о дозволении распространить в Риге без изъятия на всех бродяжничествующих и нищенствующих по городу малолетних раскольников правило 30 апреля 1838 года» (т. е. отдавать их в батальоны военных кантонистов). Ходатайство свое об этой мере князь Суворов подкреплял тем, что «число бездомных и бесприютных раскольников в Риге, известных здесь под именем „карманщиков“, постоянно возрастает и время от времени становится большою тягостью для общества. Городская полиция, писал князь, бессильна, чтобы с успехом следить за „вредным классом карманщиков“». Этот «вредный класс» по расчету, выходит, – поколение раскольников, народившееся после уничтожения в 1832 году гребенщиковской школы, из которой было принято правилом пристраивать детей к местам. Община, никогда не бросавшая своих сирот и детей бедняков, теперь не могла ничего для них сделать, а власть, находя себя не в силах «подобрать детей», как подбирало их общество, решилась покончить с ними, сдав их в кантонисты.

Ходатайство князя Суворова, шедшее чрез Л. А. Перовского, было уважено. Стон, плач и сетование огласили Московское предместье. «Это был плач в Раме, – говорят старики раскольники на своем торжественном языке. – Рахиль рыдала о детях своих и не хотела утешиться». Вызванные бездомными и ничему не обученными детьми суровые меры шли одна за другою, одна другой круче, одна другой неожиданнее. Того же 11-го июля, когда князь Суворов за № 807 просил Льва Алексеевича Перовского ходатайствовать об отдаче раскольничьих сирот в кантонисты, он за № 808 предписал рижскому полицмейстеру «немедленно, но с осторожностью, внезапно и совершенно негласно, взять в распоряжение полиции круглых раскольничьих сирот, как мальчиков, так и девочек». В списке взятых по этому распоряжению сирот есть дети обоего пола включительно от двух с половиною до девятнадцати лет. Даже, не знаю уж по каким соображениям, в числе малолетних была взята купеческая дочь Евдокия Лукьянова Волкова, 21-го года. Все это имело ужасное впечатление на раскольников и врезалось в их памяти огненными чертами. Есть донесение полицмейстера Грина (5 ноября 1849 года за № 2862-м), из которого видно, что дети, несмотря на позднюю, суровую осень, прятались в незапертых холодных балаганах на конном рынке, где их и находили ночные патрули, доставляя оттуда прямо в полицейскую чижовку. Забираемые дети чаще всего были совершенно нищие. Так, ночью под 5-е ноября были взяты семь мальчиков, у которых все имущество заключалось в одних мешках.

26 ноября 1849 года за № 5752 граф Перовский уведмил князя Суворова, что «Государь Император Высочайше повелеть соизволил распространить правило 30 апреля 1838 года на всех бродяжничествующих, даже и на православных».

Забранных детей, с некоторыми усиленными этапными предосторожностями,

препроводили по пересылке в том же ноябре месяце в Псков и там сдали их в батальоны военных кантонистов.

2-го января 1850 года опять были взяты какие-то одиннадцать карманщиков, но их князь Суворов велел отослать к духовному начальству для присоединения к православию, а епископ Платон поручил совершить это присоединение священнику Благовещенской церкви Светлову.

Священник Светлов убеждал в истинах православия весьма успешно. 23-го января 1850 года преосвященный епископ Платон прислал к Суворову нижеследующую расписку:

«Мы, нижеподписавшиеся рижских умерших мещан дети: Иосиф Иванов (четырнадцати лет), Василий Васильев (восьми лет), Назар Семенов (двенадцати лет), Леон Семенов (девяти лет), Татьяна Федорова (десяти лет), Марина Лещева (восьми лет), Екатерина Филатова (восьми лет) и Федосья (восьми же лет) сим изъявляем решительное наше намерение из раскола присоединиться к православию Кафолическия восточныя церкви и обещаемся быть в послушании ея всегда неизменно. Января 16 дня 1850 года. К сему показанию вместо неграмотных вышеозначенных детей расписался мещанин Михаил Яковлев. Кроме означенных в показании сирот, 17-го января еще присоединен младенец Иоанн двух с половиною лет. Подписали: квартальный надзиратель Станкевич 2-й, свидетель – орловский мещанин Федор Тихонов Дмитриев. Показание отбирали: рижския Благовещенския церкви священник Сергий Светлов, дьякон Нил Назаревский, дьячок Иван Кедров».

К довершению искренности этого «присоединения» или, как раскольники говорят, «примазывания», бывали случаи сопротивления присоединяемых. Так, например, даже при присоединении этих самых детей, изъявивших священнику Светлову свое решительное намерение присоединиться из раскола к православию, случилась история, о которой рижский полицмейстер полковник Грин 20 января 1850 года за № 35 («дело о карманщиках») доносил так: «Тетка сирот Назара и Леона Семеновых, здешняя рабочая, раскольница Домна Семенова во время присоединения несколько раз сильным образом врывалась в церковь, произнося ропот с шумом. А сестра сироты Василья Васильева, здешняя рабочая, раскольница Федосья Иванова у церкви и при выходе из оной ее брата, идучи за ним по улицам, громко плакала».

Потом еще исправляющий должность рижского полицмейстера 13 февраля 1850 г., № 87, донес кн. Суворову, что на данное помощнику квартального надзирателя Винклеру поручение представить мальчика Андриана Карпова Михеева для присоединения он рапортовал, представя Михеева и его сестру, здешнюю рабочую Марфу Карпову Михееву, что «последняя дорогою к церкви всячески старалась брата своего отклонить от присоединения, выразив при том: „Хоть и голову тебе отрежут – не поддайся“. При том она громким плачем возбудила внимание проходящей публики, и несколько человек сопровождали ее к церкви. По прибытии на место Марфа Карпова Михеева насильно ворвалась в церковь, стала позади своего брата, произнося жалобы, и, когда священник хотел приступить к обряду присоединения, Андриан Карпов сего не дозволил, так что св. миропомазание должно было оставить».

«По учинении такового поступка Михеев и его сестра отведены под арест. После же того Андриан Карпов Михеев объявил, что он обдумал, и просил представить его священнику, что тотчас и учинено, и он без всякаго помешательства присоединен. Сестра же его содержится при полиции».

Чиновник особых поручений прибалтийского генерал-губернатора граф Сологуб 24 июля 1860 г. за № 5 прислал кн. Суворову донесение, ходящее между раскольниками в тысяче списков. Я здесь приведу только некоторые места этого очень большого донесения:

1
«Принцип невмешательства во внутренние дела раскола, – пишет граф Сологуб, – существует собственно по имени, а на деле отступления от сего принципа повторяются беспрестанно. Высылка людей по этапам на увещание, запечатывание и разорение молелен, отбирание книг, икон и вещей, отлучение детей от родителей, жен от мужей, стариков от семейств, ссылка наставников, заключение их в тюрьмах – все эти случаи, имеющие свой источник в похвальном рвении к православию, но не подлежащие законности судебных приговоров, не подходят под правило невмешательства во внутренние дела раскольников. Справедливее было бы выразить,

что принцип невмешательства соблюдается не для внутренних, а для внешних дел раскола».

2
«Что церковь лишает своего благословения отступников от православия, оно естественно и понятно, но чтоб мирская власть преследовала семейное начало, коим единственно может держаться гражданская жизнь, чтоб она не противодействовала явлениям внутреннего общественного и, следовательно, государственного разрушения, чтоб она добровольно лишала себя права водворить гражданский порядок там, где порядок церковный сделался пока невозможен, это объясняется только беспримерным самоотвержением, беспредельной преданностью церкви и, можно сказать, уверенностью, что семейное начало в русском народе так сильно, что, несмотря на возможность уклониться от него, ничто не истребит его совершенно.

В этом отношении смело утвердить следует, что первенство духовной власти, не достигая собственной цели, препятствует при совокупных действиях власти светской достигнуть цели возможной и тем впоследствии содействовать самой церкви».

3
«В 1834 году книги отобраны. Преосвященный Иринарх выразил правило, что следует теснить раскольников в самых обрядах богослужения, чтоб им дать почувствовать необходимость присоединения к единоверческой церкви. Вследствие того школа была уничтожена, две молельни закрыты, но третья оставлена. Рижские раскольники, не воспользовавшиеся в 1822 году правом скреплять законно свои браки, впоследствии сами о том многократно просили, но, несмотря на усиленное ходатайствование главного начальства, им было постоянно отказываемо.

Тут возникла явная несообразность. То, что сперва требовалось и потом запрещалось в Риге, гласно допускалось в Динабурге. Наставник тамошней часовни не только имел позволение совершать браки и записывать их в книгу, но выдавал брачные свидетельства, скрепленные местною полициею по предписанию губернского правления.

В 1837 году раскольник Наумов просил позволения у г. генерал-губернатора обвенчать своего сына в молельне, так как в Динабург их более не пускали, а совершать браков по их обрядам им никогда воспрещено не было. Просителю объявлено, что со стороны местного начальства, по существующим правилам, препятствия к тому же не предвидится. Снова возникло недоразумение, в коем раскольники были, конечно, не виноваты. Брак совершен при общей их радости, уступившей скоро гневу преосвященного, требовавшего, чтобы все раскольничьи супружества были объявлены незаконными, все их дети незаконнорожденными и лишенными права наследства».

4
«В 1838 году отобраны у раскольницы Леоновой, несмотря на ее сопротивление, трое детей и присоединены к церкви по той причине, что они были прижиты незаконно. Это самое условливало, что раскольники могут иметь детей законных, но закон о том умалчивает. Постановление же о крещении незаконных раскольничьих детей в православие действительно существует. Но могут ли быть законные дети там, где нет хотя гражданского законного брака? Что тут должно служить руководством? Куда следует приписывать новорожденных? В 1837 году были сделаны по сему предмету в Риге некоторые местные распоряжения, требовавшие продолжительных формальностей и до того взволновавшие раскольников, что одна женщина хотела при общем крике бросить мертвого некрещеного младенца в ноги частного пристава».

5
«Ныне в Риге, сколько известно, раскольники могут, но не обязаны, объявлять свои браки в полиции.

В Дерпте браков не записывают на том основании, что они незаконны».

6
«В Дерптском уезде высланы из разных мест 8 наставников, некоторые уже умерли в ссылке и считаются пострадавшими за веру. Кроме того, 8 молелен закрыто. В настоящее время между дерптскими раскольниками нет ни одного ответственного по расколу лица и ни одного молитвенного дома, где бы они могли собираться. Таким образом, несмотря на правило невмешательства и неоднократно повторенное положение, что раскольникам не воспрещается исполнять свои требы, средства к

исполнению таковых треб у них отняты. Им остается или обратиться к единоверию, или укореняться еще более в чувствах своего коренного неповиновения, тайно выбирать себе в наставники первых попавшихся, ни за что не ответственных людей и, наконец, не только удаляться еще более от начал порядка, но обратиться к явному разврату и пьянству, доселе бывших неизвестными».

7
«Дерптские раскольники не имеют перед законом ни наставников, ни молельни, ни жен, ни детей, ни прав, ни обязанностей! Они не возвышены до степени разумного общества, а унижены до степени стада без пастыря. А потому нравственность их должна упадать с каждым днем, что действительно и замечено.

Все вышеприведенные обстоятельства могут уже некоторым образом пояснить, с какими последствиями бывают сопряжены неточность и негласность узаконений там, где точность и гласность в особенности необходимы, и почему гражданская организация раскола была бы событием вполне желательным. Она бы положила конец мнимым преследованиям, которыми раскольники гордятся, и, между тем, лишила бы их действительных выгод, которыми они весьма сознательно пользуются».

8
«Смею думать, что безошибочно можно вывести следующие заключения:

Расколу содействуют три причины:

1) историческое озлобление против духовенства,

2) невежество,

3) выгодная неопределительность постановлений.

Если причины оказываются верными, действия против них выказываются сами собой. Они обуславливают:

1) совершенное отделение в деле раскола власти духовной от власти гражданской, имеющих действовать не совокупно, а одновременно, с тем чтобы церковь содействовала обращению словом, поучением, молитвой, любовью, примером, а местные полиции – соблюдением определенного порядка;

2) учреждение школ, обязательных для всех раскольничьих детей;

3) издание правил для руководства местных властей и известности самим раскольникам.

Осуществление подобных мер представляет, однако, немаловажные затруднения. Мысль, что может возникнуть неосновательный упрек в заменении таинств полицейскими распоряжениями, опасение неудовольствия духовенства, боязнь открыть народу новый источник соблазна, недостаток в учебных пособиях и образованных сельских священниках, ненадежность полицейских орудий – таковы суть препятствия, останавливающие гражданскую организацию раскола. Но эти препятствия встречаются более для великороссийских губерний. Для остзейских они не существуют, по крайней мере, не в равной силе.

Остзейским губерниям принадлежит высокая честь стоять в челе нашего государственного благоустройства. Уничтожение крепостного права, водворение обязательного народного образования, деятельность высших училищ, образцовое учреждение городских обществ и земских полиций, уважение сословий к своим правам, развитие сельских хозяйств, преуспеяние общественной нравственности – таковы последствия долгого исторического развития и благодетельных правительственных мер.

Но при общей определительности прав, обязанностей и отношений нельзя не сознать, что постановления о проживающих в остзейских губерниях раскольниках одни только не согласуются со стройностью прочих частей управления.

Между тем, число раскольников незначительно, большинство жителей – протестанты, для которых наружное снисхождение по расколу не представляет опасности; русского духовенства нужно немного. На полицию положиться можно.

Элементарные школы учреждены в каждой деревне, пример перед глазами. Заимствование будет нетрудно».

9
«В Дерпте некоторые раскольники посылают уже детей своих в немецкие училища, сами говорят и по-немецки и по-эстонски, бывают у православных священников, и один из них, предполагаемый их тайный наставник, торгует табаком – треклятым, по мнению поморской секты, зельем».

10
«Обращения совершаются большей частью или посредством браков, или по насильственному миропомазанию детей, коих родители некогда принадлежали к православию, причем закон давности не соблюдается.

Если раскольник, например, пожелает жениться на православной, церковь венчает их и записывает раскольника в число обращенных; но многие опыты доказывают, что при таких случаях после венчания не муж становится православным, а жена переходит в раскол.[9]

С детьми же, долженствующими по метрическим книгам принадлежать к православию, действия духовно-полицейской власти принимают иногда свойства жестокости, несогласной ни с милосердием церкви, ни с духом времени».

11
«В комнату мою ворвались крестьянин и крестьянка, с воплем и слезами кинулись на пол и начали просить защиты против носовского священника. Сбежавшаяся моя семья не могла утешить почти ослепнувшую рыдающую мать, вопиющую, что у нее отнимают детей.

По сделанной мною справке дело подтвердилось.

Крестьянин деревни Ротчина Осип Васильев Дектянников хотя и утверждает, что он родился от родителей, всегда бывших в расколе, но записан по метрическим книгам дерптской Успенской церкви родившимся в 1810 году и крещен в православии.

Это послужило поводом, что через 47 лет, т. е. в 1857 году, дети его были вытребованы к увещанию по представлению носовского священника. Детей было трое: Иван 16 лет, Василий 13 и Андрей 1 года. Старший, немой и подверженный эпилептическим припадкам, оставлен в покое, но Василий и неразумный еще Андрей были перекрещены. Последний не мог, очевидно, понять, что с ним делали, но тринадцатилетний Василий, как показывает его отец, тотчас кинулся в реку, чтобы смыть с себя священную печать Духа Святаго.

На основании сего присоединения к церкви высшей властью постановлено, чтоб обращенных детей Дектянниковых у него отобрать и передать на воспитание православным родственникам или опекунам. Родители детей скрывали, и ныне они или должны остаться с глухонемым эпилептическим сыном, или, как во время гонений, прятать своих других детей от преследований священников. При этом нельзя не упомянуть, что в крестьянском быту подрастающие дети составляют рабочие силы и что отлучение их из дома поражает не только чувство природы, но и хозяйственные выгоды крестьян.

Вышеприведенное дело, перед которым слабеет известный случай еврейского мальчика Мортары, возбудивший негодование всей просвещенной Европы, к сожалению, далеко не единственный в сем роде.

Кто в приведенном случае возбуждает сочувствие – раскольник или священник? Значение церкви так велико, так свято, что всякое насилие в ее пользу не только ее оскорбляет, но явно вредит ей.

При этом надо заметить, что местные земские полиции тем строже исполняют свою обязанность, чем более внутренне чувствуют к ней отвращение! Боясь показать незаконное потворство, они держатся буквально смысла данных им предписаний. Так как раскольники часто укрываются бегством от грозящих им увещеваний, то по сему поводу учреждены были нередко, по отзыву земских властей, настоящие на них облавы.

В видах осторожности их часто содержат под стражей, ведут в кандалах по этапам,

как преступников, причем и обращение с ними полицейских очевидно грубо до жестокости.

Духовенство ссылается на то, что по религиозным убеждениям преследований нет. Но разве содержание в тюрьме, ношение цепей, этапное следование с колодниками не составляют тоже истязания? Разве отлучение от семейства не составляет нравственной пытки?

До сего времени содержится в Дерпте престарелый безграмотный старик Прокофий Никифоров. Он с 1850 года, т. е. уже десять лет, как отлучен от своего семейства, почти из ума выжил и очевидно только теперь становится опасен, потому что слывет наряду со многими другими праведником, пострадавшим за веру.

Если бы священники подвергались строгой ответственности перед своим начальством за всякое неподтверждаемое обращение (в православие), если в обращениях настоящих было бы принимаемо надлежащее удостоверение, что обращающийся не по какому-нибудь минутному расчету, а по искреннему чувству сделался достойным счастья быть снова причисленным к церкви, – то нет сомнения, что случаи, мною приведенные, сделались бы невозможными.

По самой человеческой немощи всякое принуждение вызывает ропот, всякое запрещение условливает желание ему не подчиняться. Если бы церковь объявила раскольникам, что она в виде наказания не признает их более и поставила бы присоединение на степень награды после очистительного оглашения… обращений очевидно было бы более, чем ныне… и святое достоинство имени церкви не подвергалось бы нареканиям и упрекам невежественной черни.

Тут определяется прямая деятельность церкви.

Она никого не укоряет, никого не винит, никого не требует к мирскому суду. Полная самоотверженной любви, она в виде скромного пастыря входит в избу совращенного, переносит оскорбления, во имя богострадальца благодетельствует оскорбивших, роднится с их жизнью, вникает в их быт, говорит их языком и, наконец, направляет их к разуму и истине».

12

«Кроме начала ненависти, раскол образуется началом невежества. Меры против последнего высказываются сами собой: образование училищ, истребляя невежество, тем самым может истребить и раскол. Но тут встречается новое столкновение духовной власти с гражданской. Элементарное духовное образование поручено приходским священникам; в приходские же училища раскольники детей своих посылать не будут, несмотря ни на какие принуждения.

Таким образом, нужно было отказываться до сего времени от одного из лучших способов действовать на раскол.

В великороссийских губерниях, где народное поголовное образование еще не обязательно, такое обстоятельство объясняется само собой; но остзейские губернии служат и в этом случае исключением. В них общее учение, требуемое протестанским исповеданием, осталось обязательным для присоединенных к православию крестьян.

Из этой общей меры исключены только русские мещане и раскольники. Последние, видя вокруг себя общий порядок учреждений независимо от вероисповеданий, не будут противиться учреждению школ, а лишь участию в них священников. Наконец, учреждение обязательных школ могло бы быть условием к предоставлению раскольникам некоторых прав, которые в свою очередь принесли бы со временем свои плоды.

Из этого возникает возможность образовать в ведении учебного округа, но на счет сектаторов, обязательные школы, учреждение коих подчинилось бы особым правилам. Они бы имели свойство чисто педагогическое, не касаясь предметов веры, поручались бы школьмейстерам, в деревнях бы довольствовались учением грамоте и 4 первых правил арифметики, а в Дерпте включили бы в свой курс географию, историю, грамматику и пение. Подобный опыт, как слышно, уже сделан в военных поселениях по распоряжению министерства государственных имуществ, – а так как часть дерптских раскольников подлежит тому же ведомству, то в применении уже существующего правила нельзя предвидеть затруднения. По свидетельству очевидца, между новгородскими раскольниками уже усиливается убеждение, что толку их

существовать недолго, – на том основании, что детей их уже посылают в школу.

Освободив раскольников от столкновений с духовенством, принудив их к образованию и штрафами за ослушание и тем, что безграмотный не мог бы быть приписан в мещане… остается приучить их к гражданской жизни и к гражданской ответственности. Обязанности условливаются только правами. Кто не имеет права, не имеет и обязанности.

Негласные постановления существуют… Почему же не сделать их гласными, когда все их знают?»

–

Приведенные отрывки не будут лишними. Впереди мы встретим бумагу другого члена лифляндской администрации, держащегося несколько иных воззрений на раскол. Я не намерен подвергать ту бумагу критическому разбору, но имею основание желать, чтобы лицо, прочитавшее мои выдержки из донесений графа Сологуба, удержало их в своей памяти, пока его внимание будет остановлено совершенно противоположными мнениями.

По моему крайнему разумению, все вышеизложенное может служить достаточным подкреплением моего мнения, что «отвращение к церкви и церковникам-никонианам» внушалось и ныне внушается раскольникам не в школах и не учителями вроде добродушного старичка Желтого или простого шкловского мещанина Дорофея Дмитриева Емельянова. Я имел честь оговориться, что не хочу, да и не могу оспаривать автора «Истории Преображенского кладбища», по словам которого, в ковылинской школе в Москве «детям внушалось отвращение к церкви и церковникам-никонианам». Не хочу даже пользоваться общими многим придирками к происхождению и нынешнему положению автора, но не поручусь за основательность его сказания, а сам, по своему уму-разуму и совести, решительно отвергаю возможность приписывать религиозный фанатизм раскольников влиянию школ и в этом влиянии искать корень презрения раскольников к духовенству господствующей церкви, опирающейся на мирскую власть и присоединяющей в свое лоно при содействии квартальных надзирателей. Еще раз повторяю: это плоды принудительной системы правительства и корыстолюбивой ревности духовенства; а школы здесь решительно ни при чем.

Так исчезла рижская гребенщиковская школа, оставив на своем месте описанную мною «мерзость запустения».

А между тем шли годы, сменялись общественные деятели, изменился характер правления и изменились обстоятельства.

С восшествием на престол императора Александра II и первым мерцанием обличительной гласности раскольники завидели вдалеке брезжущую зорьку, обещавшую конец долгой осенней ночи, в течение которой они спали, давимые тяжелым кошмаром. Смутны и неопределенны, но теплы и смелы были их надежды на молодого государя. Они начали помышлять о возвращении многих отнятых у них гражданских прав и, между прочим, права иметь школы. Смелее всех в этих надеждах были раскольники Остзейского края, и в особенности рижцы, которые, несмотря на все вышеизложенное, все-таки были самостоятельнее всех других русских раскольников. Ожидая пока, что будет, рижане порешили, что уж, во всяком случае, прежние преследования прекратились и можно кое-что предпринимать потихоньку к своему благоустроению. Попытались отнестись к начальству с одним, с другим, – на все отвечают не в прежнем тоне. Стали еще более верить в царя; стали еще смелее в просьбах, а в некоторых вопросах, где боялись столкнуться с духовенством, пошли вперед сами, без всяких разрешений, так называемым «законопротивным образом». В этот период на одной рижской раскольнице женился раскольник же из Вилькомира, митавский 2-й гильдии купец Григорий Семенов Ломоносов, человек прямой, резкий, тершийся по делам с разными властями и имеющий большое состояние. Ломоносов начал свое общественное служение в Риге чем обыкновенно заявляют себя раскольники: приношениями в больницу, богадельную и моленную. Может быть, что Ломоносов и ограничился бы этого рода деятельностью. Но случай свел его со здешним довольно еще молодым купцом Захаром Лазаревичем Беляевым, самым горячим слугою общественных интересов и неустанным врагом всякой лжи и всякого невежества. Он воспитывался в уничтоженной гребенщиковской школе, был мальчиком в трактире, потом сидел за веру в казематах Динамюнде, а теперь имеет небольшой русский трактир, с которого и живет. Беляев – человек весьма светлый и довольно развитый, а всего более до крайности прямой и готовый хоть сто раз погибать за

правду. Он очень любит читать произведения новой литературы и при всей ограниченности своего состояния, едва ли превышающего десять тысяч рублей, выписывает пять русских журналов и несколько газет. Все это Беляев перечитывает с большим вниманием и замечательным критическим тактом. Влечение к знаниям у него доходит до страсти, и потому нестерпимое однообразие раскольничьих «цветничков» и очевидная нелепость большинства толстых книг его возмущают. Он не только сам давно бросил эти книги, но, к великому соблазну многих, очень еще любит выставлять на посмеяние хорошо известные ему бредни толстокнижников. Беляева считают плохим «христианином» (в раскольничьем смысле этого слова), но глубоко уважают как лучшего и самого «крепкого» общественника. «Осатанел, – говорят, – Беляев, а мужик первый». За эту безмерную преданность Беляева общественным интересам ему скрепя сердце прощают не только его осатоновение, но и беспощадную обличительную прямоту, пробивающую людей до седьмого пота. Познакомившись с Беляевым, Ломоносов завел на Московском форштате секретную школу и содержит ее до сих пор вместе с Беляевым. Это и есть та школа, о которой прослышали здешние поморцы и по образцу которой они желают устроить школы у себя. Мне не было основательных причин добиваться, как велико денежное участие Беляева в содержании этой секретной школы, но полагаю, что оно ничтожно: ее инициатива, кажется, более принадлежит Беляеву, чем Ломоносову. Ниже мы будем иметь случай подробно говорить об этой школе и о том, насколько она заслуживает внимания и подражания.

Прошло года два со времени основания этой школы, известной под фигуральным именем «Мброчки», и в других местах Остзейского края тоже начали под сурдинкой поучивать детей в сборе по десяти и по двадцати в одном месте.

Но раскольники, вечно подозреваемые в какой-то жадности к таинственности, на самом деле очень любят официальное признание и гласность. Пожив годок-другой со своими секретными школами, они начали ходатайствовать об учреждении им открытых школ.

Упорное искание школ поморцами Остзейского края в нынешнее время во многом напоминает искание архиерейства рогожцами и дьяконовским согласием в последние годы царствования Екатерины II, кончина которой надолго отдалила соединение господствующей церкви со всею дьяконовщиною и многими поповцами ветковского согласия. Раскол делает уступки и просит чего ему хочется, а ему дают то, чего он не хочет взять, да и не может взять по своим понятиям о деле. Все идет невыносимо долго, все мучит людское терпение с равнодушием приспешника, раздумывающего над яством, назначенным для утоления судорог голодного желудка. Является Захар Беляев, совершенно равнодушный к фанатическим требованиям раскола, но неравнодушный к делу образования и испытанный горячий слуга раскольничьей общинности. Это – личность, во многом напоминающая собеседника кн. Потемкина, молодого раскольничьего философа, всеми силами рвется сближать своих общественников с современными идеями. Он говорит им, что раскол – вздор, что учение Христа не в формах и обрядах, а в духе любви, которой у раскольников ничуть не более, чем у православных, католиков или евреев. Беляевы в расколе не часты, но все же в расколе есть люди светлые и благонамеренные, которые могли бы оказать много несомненной пользы в интересах народного просвещения и, следовательно, в интересах народного благосостояния. Все это подходит к дверям власти, все это тянет пред ними надрывающимся грудным голосом свое скитовое «Господи Иисусе Христе, помилуй нас», и все молча готово снова завернуться само в себя, если власть из-за своих дверей не поторопится ответить им давно ожидаемое «Аминь».

Искание школ в Остзейском крае в последнее время начали дерптские раскольники. Мысль просить об учреждении школ была у них, разумеется, давно; но новый повод к заявлению ее дало опять едва ли не то же самое духовенство господствующей церкви.

Из дела, находящегося в архиве генерал-губернаторской канцелярии, видно, что архиепископ рижский и митавский Платон 13 июня 1860 года за № 2481, по доносу дерптского благочинного протоиерея Алексеева, жаловался генерал-губернатору, что мещане русского происхождения «небрегут о образовании детей своих и не посылают их в приходские школы», и просил кн. Суворова, не признает ли он возможным побудить граждан русского происхождения, проживающих в Лифляндии, к обучению детей их в приходских и других школах. В бумаге рижского архипастыря, между прочим, было сказано, что мещане скупятся уделить что-нибудь на образование своих детей и что, по мнению отца Алексеева, «посещение школ нужно сделать

обязательным, по крайней мере для слушания уроков религии».

Когда настоящее дело дошло до лифляндского губернского правления, то это присутственное место 13 октября 1860 года за № 2811 написано генерал-губернатору, что он «не в состоянии приискать какие-либо средства для побуждения живущих в Лифляндии мещан русского происхождения посылать своих детей в школу», а генерал-губернаторский чиновник Шмидт 7 марта 1861 года за № 25 представил донесение, которое я привожу в подлиннике.

После форменного вступления г. Шмидт пишет:

«Прежде всего долгом считаю не умолчать о сделанном мною в настоящее время замечании, что благосостояние, бывшее 10 лет тому назад у многих живущих в Дерптском уезде раскольников, ныне не существует, а на место оного вкрались пороки, леность и пьянство, чего прежде не видно было. Я очень далек от утверждения, будто это зло произошло оттого, что раскольники лишены были отправления обрядов своих закрытием молелен; но полагаю, что эта мера имела более или менее влияние на развитие между ними безнравственности, преимущественно же между молодыми. Опыт доказывает, что угнетенная секта упорнее остается в своем заблуждении, надеясь этим приобресть вознаграждение в названии „мученика“, нежели такая, которая терпима правительством и свободна в отправлении обрядов, состоя только под строгим надзором в отношении обращения других в раскол.

Со времени закрытия моленных в Дерптском уезде присоединение раскольников к православию не было очень значительно. В 1850 году число раскольников простиралось до 4200, а ныне до 4000 душ, следовательно, разница в 200 человек; и эта разница, может быть, произошла не только от присоединения к православию, но и от перехода раскольников на жительство в другие места и от других причин. Даже наказания, которым некоторые из сектаторов подвержены были, не могли их склонить к возвращению в недра церкви, и так как нельзя заключить, чтобы означенные 4000 душ совершенно обратились в язычество, то с достоверностью полагать можно, что они втайне отправляют обряд своей секты. Ни светское, ни духовное начальства не в состоянии прекратить этого совершенно, и такая втайне действующая секта имеет самые вреднейшие последствия в религиозном, нравственном и общественном отношениях, тем более, что все тайное возбуждает в человеке особенную привлекательность и представляет самый лучший случай к обращению в секту.

Для узнания обязанностей против Бога, истинной веры и определения своего существования человек должен иметь образование. Все люди способны к образованию, если только существуют необходимые наружные условия. Во всех обстоятельствах жизни обнаруживается, что образование начинается мало-помалу и переходит от наружного к внутреннему, от несущественного к существенному. Посему во время настоящей прогрессии в нашем отечестве весьма радостно событие, что все живущие в Дерптском уезде раскольники, которых я имел случай видеть, изъявили желание посредством устройства школ дать соответственное образование своим детям, число которых простирается до 1300 душ.

Имею честь представить Вашей светлости в приложении под лит<ерой> А прошение, подписанное дерптским мещанином Смолкиным от имени и с согласия раскольников, живущих в деревнях: Черной, Каките, Красная гора, Кольке, Казепе, Воронье и Меже, об устройстве школ под условием, чтобы они не состояли под влиянием православного духовенства, и чтобы учители принадлежали к раскольнической секте. Независимо от сего сектаторы просят в представляемом у сего под лит<ерой> Б прошении об открытии моленных и определении наставников, как это дозволено единоверцам их в Риге и в других городах империи.

Сверх сего мне подано было прилагаемое у сего под лит<ерой> В прошение от живущих в г. Дерпте раскольников, состоящих из 168 взрослых и 60 детей обоего пола. Это прошение, изъявляя подобное же желание, „что если предоставится им право давать детям своим преимущество образования, то разумеется, что таковое тем более необходимо им самим по обрядам своим“, – следовательно, они согласны на открытие школ, но только под условиями.

Что касается до открытия моленных и определения наставников, то я удерживаюсь от выражения всякого мнения по сему предмету, но нахожу полезным устройство школ, потому что уже в обучении юношества грамоте, читать и писать есть средство

довести их со временем до сознания в лжеучении, которому они преданы.

В заключение осмеливаюсь почтеннейше представить Вашей светлости следующие предположения касательно устройства таковых школ:

1) Относительно преподавания грамоты школы должны состоять под наблюдением местного ведомства народного просвещения; в отношении же могущих быть попыток к обращению других в раскол и в отклонение погрешностей против нравственности – под строгим надзором дерптского орднунгсгерихта.

2) Преподавание должно ограничиться чтением, письмом и первыми началами арифметики; касательно же преподавания закона Божия, то существует для единоверческой церкви катехизис, который признают и сами раскольники.

3) Учителей следовало бы предварительно избирать из числа сектаторов и, если возможно, не подвергать их экзамену или только поверхностно, потому что они могут быть самоучки и основательных познаний от них ожидать нельзя. Орднунгсгерихт должен иметь наблюдение, чтобы в учители не были избраны лица, известные своим фанатизмом и безнравственностью.

4) Расходы на содержание школ, на жалованье учителям, равномерно наблюдение за посещением школ следовало бы совершенно предоставить самим раскольникам».

При этом донесении г. Шмидта были представлены просьбы села Черной и деревень Кикиты, Тихотки, Красных гор, Кольк, Казеп, Вороньи и Межи.

«Просим от правительства соблаговолить для нас милосердие (пишут в этой просьбе) поучить нам своих детей в училище, устраиваемом соразмерно достатков и обстоятельств наших первоначальному обучению по нашим древним книгам и письма по скорописи, в самых простых науках, учителем, выбираемым из среды нас и чтобы это происходило помимо духовенства; насчет наук наших детей, сверх онаго вышеупомянутаго учения, мы нежелательны принять». Во втором прошении общества эти опять так же безграмотно и так же умилительно-наивно просят «позволить им поучить своих детей», но уже присоединяют к этому и просьбу позволить им молиться, как молятся в Риге.

В то же время дерптские раскольники, «поощренные благосклонною милостию его светлости князя Суворова», осмелились изъяснить желание свое в следующем:

1) «Чтобы благосклонно дозволено было обществу учредить на свой счет училище и избрать для оного из среды своей учителя, как для нравоучения самого общества, так и для детей их, и таким образом дать начало к образованию их, как таковое доступно всем состояниям в империи».

2) «Чтобы раскольническое общество само имело право выбирать из среды своей учителя для такового училища, который обучал бы детей первоначальным правилам чтения, писания и закона Божия по исповеданию предков их, а также и пению по древнему их обряду».

3) «Чтобы училище это состояло под надзором правительства при содействии двух членов из раскольническаго общества, без всякого вмешательства православного духовенства».

4) «Чтоб избранному им раскольническому учителю предоставлено было право совершать в раскольническом обществе в вышеозначенном учебном заведении духовные требы в том роде, как таковое существует и в настоящее время в г. Риге».

«Хотя в Дерпте и довольно „учебных заведений“, – добавляют раскольники в конце своей довольно длинной просьбы, – но нет училища для нас и детей наших, в котором могли бы образоваться по исповеданию предков наших». Это довольно важно, если припомнить данное раскольниками обещание учить детей в общих школах.

Раскольники, ободряемые все мало-ломалу смягчающимся характером правления, шли в своих исканиях школ не одною дверью. В деле есть следующая бумага лифляндского гражданского губернатора к генерал-губернатору:

«Избранные раскольники деревень Кикиты и Тихотка Михайло Григорьев Смолкин, Семен Петров Крохов и Григорий Михайлов Смолкин просили дерптский орднунгсгерихт

об исходатайствовании им разрешения учредить в деревне Кикита первоначальную школу, в которой бы мог избранный из среды раскольников учитель обучать детей их чтению, письму и арифметике.

Донося мне об этом, орднунгсгерихт присовокупил, что в Дерптском уезде дети раскольников решительно ничему не обучаются по неимению для них школ. Принуждать же раскольников силою отдавать своих детей в учрежденные православным духовенством школы, по мнению орднунгсгерихта, было бы неудобно и несообразно с целию. В этом случае пришлось бы преодолеть не только упорное сопротивление, но и преподавание в этих школах должно бы принять совсем другое направление, ибо оно ограничивается почти единственно наставлением учеников в правилах православной церкви.

Поэтому орднунгсгерихт признает учреждение школы для обучения детей раскольников чтению, письму и арифметике действительно необходимым, тем более, что избранный из среды их учитель, при выборе которого, конечно, надобно бы было соблюдать всю осторожность, мог бы еще иным образом полезно действовать на своих учеников, возбуждая и поселяя между ними сомнение в устарелых и несовременных убеждениях родителей их и мало-помалу искореняя эти убеждения и вообще просвещая взгляд и образ мыслей доверенного ему юношества.

Приняв во внимание все эти доводы, орднунгсгерихт вошел в сношение по сему предмету с дерптским благочинным Алексеевым, который уверил его, что со стороны православного духовенства не будет никаких препятствий к учреждению раскольничьих школ (!), и посему орднунгсгерихт просит меня исходатайствовать раскольникам дозволение учредить испрашиваемые школы не только в поименованных выше, но и во всех прочих обитаемых раскольниками деревнях.

Со своей стороны разделяя вполне мнение орднунгсгерихта о пользе и даже необходимости учреждения первоначальных раскольничьих школ, считаю долгом представить о сем на благоусмотрение Вашей светлости, прилагая вместе и поступившее в орднунгсгерихт по сему делу прошение».

Потерявшие давно всякую веру в терпимость и благожелание духовенства господствующей церкви и видя в немцах более благородной снисходительности и здравомыслия, чем в своих православных соотчичах, жители мызы Роель Михаил Григорьев Смолкин, Семен Петров Крохов и Григорий Михайлов Фомкин от себя и от имени общества принесли покорнейшее прошение дерптскому орднунгсгерихту и плакались немцам таким образом:

«Побуждаемы крайне жалостным положением детей наших, лишенных всякого образования по неимению никаких учебных заведений для раскольников, мы осмеливаемся прибегнуть к оному орднунгсгерихту с покорнейшею просьбою, приняв в соображение, что дети всех существующих в империи вероисповеданий и состояний получают образование в учебных заведениях, а наши дети в настоящее время лишены всех прав на достижение даже и самого посредственного необходимо нужного образования, – соизволить сделать со своей стороны надлежащее распоряжение об исходатайствовании нам, где следует, дозволения учредить для общества нашего селений Кикиты и Тихотки, состоящего из 120 дворов, в селении Киките школу для обучения детей наших первоначальным правилам чтения, писания и арифметики избираемым из среды нашей учителем.

Умоляя не отказать нам в нашей покорнейшей просьбе и уповая на милость и милосердие высших начальств, честь имеем пребывать» и проч. (г. Дерпт 25 ноября 1860 года).

Между тем, по давно усвоенной привычке проводить докучно привязчивую полицию, раскольники, видя, что от них уже принимают просьбы о школах и, так сказать, мирволят им, начали, не дожидая правительственного разрешения, то там, то сям заводить что-то вроде школок. Немцы, чиновники остзейского гражданского управления, несомненно знали об этом, но мирволили, ибо, к чести здешних немцев, они вообще отлично ведут себя по отношению к религиозной свободе раскольников. Генерал-губернатор не отказывал в учреждении просимых школ и написал преосвященному Платону (23 декабря 1860 года № 4103), вызывая рижского архипастыря веротерпимейшей церкви выразить свое мнение по представлению дерптского орднунгсгерихта. В своей бумаге кн. Суворов давал очень ясно чувствовать, что сам он склоняется в пользу удовлетворения раскольников.

Между тем о самоволии раскольников узнал дерптский протоиерей Павел Алексеев и вошел в сношения с высокопреосвященным Платоном. 18 октября 1860 года за № 1428 отец Алексеев уже писал преосв. Платону следующее:

«По приказанию Вашего высокопреосвященства чрез канцелярию от 27 сентября № 507 я лично входил в сношение с директором дерптской гимназии г. Шредером относительно открытых раскольниками школ в деревнях Воронье и Больших Кольках, и он объявил мне, что по особому положению сельских школ в Лифляндии они не подчинены директору, но заведывает ими особое правление, находящееся в г. Риге, председателем которого в настоящее время г. фон Клодт, сын бывшего суперинтенданта, а потому директор не может иметь влияния на открытие или закрытие сельского училища. Впрочем, если бы, говорил г. Шредер, последовало начальственное предписание ему закрыть раскольнические школы, то он с готовностью исполнит оное, хотя, откровенно говоря, не предвидит в этом никакой пользы, потому что в отдаленных селениях совершенно не может иметь наблюдения за открытием таковых школ, и школа, закрытая по его приказанию сегодня, может быть открыта завтра же, и он никогда или по крайней мере весьма долго не узнает об этом.

После этого объяснения с г. директором я имел разговор об этом же предмете с Его высокопревосходительством, г. попечителем, который, подтвердив слова директора, присовокупил, что если последует от меня форменное представление к нему о школах, то он предпишет директору закрыть их, но признает, что это не только не будет иметь важных последствий, по невозможности директору строго наблюдать, чтобы школы не были открываемы вновь, но еще находит, что это может более усилить ненависть и отвращение раскольников к православным священникам, так как он будет действовать на основании требований православного духовенства. В предотвращение этого зла, г. попечитель полагает удобнейшим действовать чрез жандармского штаб-офицера, так как он не обязан указывать, откуда он получил известные сведения, и, с другой стороны, требования его строже будут исполняемы земскою полициею, нежели отношения какого-либо иного ведомства.

С благопокорностью доведя до сведения Вашего высокопреосвященства вышеизложенные отзывы г. попечителя и директора, осмелюсь со своей стороны представить на благоусмотрение Вашего высокопреосвященства, что раскольники в настоящее время весьма желают открыть у себя школы, даже готовы просить разрешения на это, но соглашаются только, как мне известно, в решении, к какому начальству обратиться за этим и чрез это подчинить себя ему, – светскому или духовному, и потому медлят подачею прошения об открытии школ у себя, об написании которого однажды даже обращались ко мне. При таком настроении раскольников весьма важно было бы, если бы местная земская полиция строго следила, чтобы они самовольно не открывали школ, а внушала бы им, чтобы они просили о дозволении им открыть оные и что на это последует разрешение. Чтобы побудить земскую полицию действовать таким образом, мне кажется, будет довольно, если Его светлость г. генерал-губернатор выразит положительно свое желание об этом дерптскому исправнику; официальные же требования и предписания, увеличивая переписку, не принесут никакого успеха».

Рижская община, вожакам которой обыкновенно известно почти каждое секретнейшее распоряжение не только местного начальства, но и многие тайны Синода и Государственного совета, ожидала, чем разрешится это новое искание школ, и сама ничего не предпринимала. В июне 1861 года она узнала ответ Платона князю Суворову на его бумагу о школах для раскольников.

Ответ этот был формулирован (20-го мая 1861 года № 281) следующим образом:

«Ваша светлость, сообщив мне отношением от 23 декабря прошлого года за № 4103 ходатайство дерптского орднунгсгерихта о дозволении раскольникам деревень Кикиты и Тихотка учредить первоначальные школы для обучения детей их чтению, письму и первым правилам арифметики, изволите спрашивать, не встречаю ли я со своей стороны какого-либо препятствия к исполнению означенного ходатайства раскольников? Признавая при том единственно верным средством к уничтожению раскола распространение грамотности между его последователями и потому находя настоящее ходатайство раскольников вполне заслуживающим уважения, Ваша светлость изволите полагать, что для достижения того, чтобы раскольники охотно посылали своих детей в школу, необходимо назначать учителей из среды самих же сектаторов, наблюдая при этом только, чтобы в эту должность выбираемы были люди с достаточными познаниями, примерной нравственности и не зараженные фанатизмом.

При обсуждении сего предмета епархиальным начальством приняты во внимание следующие обстоятельства: 1) по существующим постановлениям касательно учреждения народных школ: а) никакое подобного рода учебное заведение не может быть открыто без разрешения местного училищного начальства, все же частные учебные заведения, в Дерптском округе существующие, городские и сельские, должны состоять в ведомстве директора училищ той губернии, в коей находятся; б) учредители школ обязаны иметь при каждой законоучителя из живущих в том месте или в соседстве священников и, испрашивая разрешения открыть школу, должны вместе с тем представлять директору училищ письменный отзыв священника, назначаемого в законоучители; в) во всех училищах, городских и сельских, все учащиеся без исключения обязаны слушать преподавание катехизиса, а не обучаться только чтению, письму и первым правилам арифметики; г) в учители сельских школ определяются местным училищным начальством люди всякого состояния, но не иначе, как доказав на испытании, что имеют нужные для сего знания и способность обучать, причем училищное начальство осведомляется об их нравственных качествах и поведении, стараясь удостовериться заранее, что они без вреда для учащихся могут быть допущены к исправлению учительской должности; д) в помещичьих селениях училища вверяются просвещенной и благонамеренной попечительности самих помещиков, кои могут поручать смотрение за оными и другим достойным сего благонадежным людям по своему выбору, а в селениях казенных учебною частию заведывает учитель, завися непосредственно от училищного начальства; сверх того в последних ближайший за училищем надзор поручается благочинному, к ведомству коего принадлежит приход; е) учители, и в особенности обучающий закону Божию священник, должны также не терять ни в каком случае из виду главной, т. е. нравственной цели воспитания. Объясняя ученикам своим святые истины христианской веры и правила добродетели, они должны стараться, чтобы вверенные им дети не только без затруднения понимали их наставления, но и привыкали чувствовать всю важность оных и важность своих настоящих и будущих обязанностей к Богу, к себе, ближним и постановленным над ними властям (Высочайше утвержденный 8 декабря 1828 года устав учеб<ных> завед<ений>, гл. II, § 4–30 и 309–312); ж) там, где есть жители православного исповедания, запрещается избирать раскольников вредных сект, в том числе и беспоповщинской, в какие бы то ни было общественные должности и дозволяется назначать их только в полесовщики, десятские и сторожа (Св<од> зак<онов>, изд. 1857, т. III, устав о службе по выборам, прилож<ение> к ст<атье> 4182[10]). Сверх сих общих постановлений, секретным циркулярным указом святейшего синода от 29 октября 1836 года за № 13023 обязанность обучения поселянских детей в тех епархиях, где есть раскольники, с Высочайшего утверждения возложена преимущественно на местное духовенство, причем объяснено, что: а) если раскольники пожелают отдать детей своих в учение не иначе, как по книгам старопечатным или со старопечатных изданным в единоверческой типографии, то принимать их с сим условием и обучать по сим книгам, и б) учащий должен употреблять особенное старание, чтобы, не смущая детей раскольнических и не раздражая родителей их жестокими укоризнами против раскола, внушить им уважение к православной церкви и к ее учению. 3) По существующему в Лифляндии положению, обучение крестьянских детей латышей и эстов, лютеран и православных, вверено также ближайшему надзору местного духовенства, причем в лютеранских приходах избираются для этого особые попечители (Kirchenvorsteher) из среды местных помещиков. 4) По собранным мною сведениям, не только в Лифляндии, но и в великороссийских губерниях весьма трудно между раскольниками найти человека примерной нравственности с достаточными познаниями для исправления учительской должности и не зараженного фанатизмом, и 5) грамотные раскольники, по обучении грамотности, на ней только и останавливаются и никаких книг, кроме церковных да служащих в защиту их заблуждений и притом вышедших из их только типографий, не читают, а следовательно, и цель грамотности – образование, хотя бы то в размерах, соответствующих быту поселян, у них ничуть не достигается, да они и не имеют ее в виду.

Сообразив вышеизложенные обстоятельства и постановления, я полагаю, что нельзя допустить, чтобы в предполагаемые школы для обучения раскольнических детей определялись учителями раскольники по выбору их единомышленников, поелику это 1) явно будет противно существующим постановлениям касательно сельских школ; 2) послужит не к благотворному просвещению раскольнических детей, а к воспитанию их в раскольнических заблуждениях, потому что наставники из раскольников, хотя бы они не были фанатики, без сомнения, будут передавать детям только свои мнения и верования, ни слова не скажут о том, что бы могло служить к истинному просвещению, которого они сами не имеют; 3) увеличит между раскольниками число грамотеев и начетчиков, а чрез это даст им возможность иметь более наставников и

певчих в их моленных к утверждению раскола; при том 4) обучение раскольнических детей только чтению, письму и первым правилам арифметики, без обучения закону Божию, который положено преподавать во всех училищах, существующих в Российской империи, не принесет большой пользы раскольническим детям, которые более всего нуждаются в религиозно-нравственном образовании. Поэтому я признаю за лучшее, чтобы 1) в предполагаемых школах учителями были светские лица православного и даже лютеранского исповеданий, имеющие достаточное образование и хорошей нравственности, по выбору раскольников или того помещика, в имении которого они проживают, и с утверждения директора училищ Дерптского округа; 2) в сих школах раскольнические дети обучались не только чтению, письму и первым правилам арифметики, но также катехизису и священной истории, хотя бы то по старопечатным книгам; и 3) сии школы находились под надзором помянутого директора и местного помещика.

Что же касается до того, что раскольники неохотно отдают детей своих в учрежденные православным духовенством школы, то это больше всего происходит, по моему мнению, от распространяемых между раскольниками злонамеренными людьми слухов, будто правительство благосклонно смотрит на их заблуждения и в скором времени дозволит им беспрепятственно строить свои моленные и открывать школы для обучения детей их. Если бы местное гражданское начальство объявило решительно раскольникам, что подобного рода слухи не имеют никакого основания и правительство никогда не дозволит им открывать свои моленные и школы, то раскольники, при нынешнем стремлении низших классов общества к образованию, вероятно, не стали бы препятствовать своим детям посещать и учрежденные православным духовенством школы, как это некоторые из них до сего времени делали и ныне делают; например, в русском начальном училище в г. Риге в прошлом году обучалось 37 раскольнических детей обоего пола, в вспомогательной школе в деревне Кольках Носовского прихода в запрошлом году обучалось 7 раскольнических мальчиков, а в прошлом два.

Сообщая это Вашей светлости, считаю нужным присовокупить, что по дошедшим до меня сведениям раскольники, живущие на Чудском озере, просят дозволения устроить в деревнях их школьные дома не для того собственно, чтобы чувствовали нужду в школах и желали образовать в них детей своих, а для того, чтобы под названием школьных домов иметь особые моленные и торжественнее совершать в них богослужение. Именно, один из раскольников откровенно сказал известному мне человеку, что они, раскольники, на самом деле не нуждаются в школьном доме для обучения детей своих, потому что их дети теперь свободно обучаются и на квартирах всему, что им требуется. Школьный дом им необходим только для помещения моленной. „Да и на что нам, – присовокупил этот раскольник, – особенная наука, когда немного осталось до кончины мира? Вот уже, говорят, греки восстают против турок, которых на этот раз одолеют, а за сим и страшный суд“. Притом Вашей светлости известно, что раскольники на Чудском озере распускают молву, будто правительство наше убедилось в истинности их веры и скоро дозволит им строить моленные; поэтому, если им дозволится строить школьные дома и определять учителей по их избранию, то они, по всей вероятности, будут указывать на это, к соблазну православных, как на доказательство справедливости помянутой молвы.

О распоряжении, какое Вашей светлости угодно будет сделать вследствие настоящего моего отношения, благоволите, Милостивый государь, почтить меня уведомлением».

После этого архипастырского отзыва искание школ опять на некоторое время затихло. Рижские большаки были вполне уверены, что во что бы то ни стало они добьются школ своей общине и потому они не отказались от своей мысли, но только отложили ее. А тем временем разыгралась польская история, и правительство стало радушно принимать сочувственные заявления раскольников. Обстоятельства эти были слишком благоприятны, чтобы ими не воспользовался дипломатический ум раскольников. В Риге еще ко дню тысячелетия России было уже несколько ученых, филармонических и филантропических затей, в которых принимали более или менее участие раскольники, как бы приобщаясь таким образом к соревнователям отечественного просвещения. Там учредились: «Баян» – русское общество пения и изящного говорения, «Ладо» – женское филармоническое общество, «Клуб», «Общество для вспоможения русским приказчикам», «Общественная праздничная русская библиотека» (в которую не ходит ни один раскольник будто бы за то, что ее освящал православный поп), «Дневной приют для детей русских рабочих при библиотеке» (до сих пор еще, кажется, не утвержденный правительством) и наконец – центральное русское общество «Улей». Все это было ведено умно и ловко:

раскольникам везде позволяли фигурировать. Не знаю, имел ли кто-нибудь в виду, что этот практический народ не станет хлопотать из-за того только, чтобы рисоваться в залах заседаний и щеголять словоизвержениями, составляющими главную деятельность русских ученых и неученых обществ. Но как бы там ни было, а двадцать человек тузов рижской раскольничьей общины, покуртизанив в либеральных собраниях с разноцветными либералами, зимою 1862 года составили просьбицу и проектик и представили эти бумаги лифляндскому гражданскому губернатору Этингену, которого они считают безукоризненным человеком и самым благонамеренным чиновником во всем Остзейском крае.[11] Просьба была об учреждении при гребенщиковском заведении сиротского дома на пятьдесят детей с училищем для обучения сирот до сдачи их в науку ремесленникам и купцам. На этот приют с училищем были собраны деньги, и все были уверены, что изменившиеся отношения правительства к расколу устранят прежние основания к отказам; но в приюте и училище, однако, снова отказано. Это огорчило и обескуражило всю рижскую общину, и особенно Ломоносова, жертвовавшего на это дело шесть тысяч рублей, и Беляева, который из своих скудных средств тоже назначил на школу целую тысячу рублей.[12]

Я приехал в Ригу в дни самого высшего сетования на этот отказ. Раскольники были не только огорчены, но и рассержены. В это время они не хотели ни о чем рассуждать и вообще были очень далеки от способности верить во всякую возможность чего-нибудь вымолить у правительства. «Все надо бросить, нечего воду толочь да злить свое сердце», – говорили они отчаянно. Я все слушал терпеливо. В бароне Ливене встретил приятное убеждение в совершенной необходимости особых школ для раскольников и готовность ходатайствовать об этом у правительства. В канцелярии генерал-губернатора я занимался выписками. Все мои столкновения с официальными лицами с первого шага в Ригу прошли прекрасно и не изменялись до самого выезда оттуда. Даже они становились все лучше и лучше. Из людей, особенно любезно содействовавших мне в моих архивных работах, могу назвать правителя канцелярии г. Тидебеля, управляющего хозяйственной частью чиновника Дембовецкого, архивариуса г. Гоге и полковника Андреянова – последний оказывал мне даже небольшие услуги. Чиновников, кажется, нисколько не занимает все касающееся раскола, и знакомство их с русским сектаторством ограничивается несколькими заграничными брошюрами о расколе.

Письма, взятые мною из Петербурга, почти ни к чему мне не годились. Люди, важные, по мнению петербургских раскольников, оказались людьми плохонькими, ничтожными и не имеющими ни собственных убеждений, ни веса в обществе, ни решимости что-нибудь делать. Это было очень неприятно. Раздражение, вызванное подоспевшим к моему приезду отказом в разрешении школы, еще более увеличивало мои затруднения. Я боялся дискредитировать себя сношением с чиновниками и не мог избегать этих сношений. Хотя я и мало дорожил архивными материалами, зная, что стоит войти в доверие у раскольников, и я буду иметь все эти сведения, но внимание барона Ливена и общая услужливость со стороны гг. Гоге, Дембовецкого и Андреянова не позволили мне устроить себе инкогнито. Я поговорил с бароном Ливеном и высказал ему желание уйти из города на русский форштат, барон Ливен был совершенно согласен со мною. Я познакомился с Ломоносовым, и он, довезя меня в своем экипаже до отеля, штудировал меня целую ночь. Утром он хотел приискать мне квартиру, но вместо того в 11 часов пришел с Беляевым и экономом гребенщиковского заведения Ионою Тузовым. Опять штудировали меня, а о квартире ни слова. Завтра опять то же и послезавтра то же. Я видел, что мне не верят, не понимают моей миссии, что такая цель странна для людей, привыкших к шпионам. Я все терпел покойно и давал щупать себя, как хотели, отвечая на все прямо и откровенно, не прикидываясь ни либералом, ни правительственным агентом. Правда взяла свое. Наконец меня перевезли на Московский форштат, но не на особую квартиру, а в дом эконома Ионы Федотовича Тузова. Я не дал заметить, что понимаю мой почетный арест, и поселился жить под полицейским надзором моего хозяина. Полная откровенность действий скоро уничтожила все опасения; два месяца мы прожили с Ломоносовым, Беляевым, Волковым и Тузовым в самой тесной приязни. В свое время я писал лицу, поручившему мне сделать эти изыскания, что вожак партии, враждебной Ломоносовской, Петр Андреевич Пименов (нынешний попечитель) даже избирал меня быть их примирителем. С «отцами духовными» я тоже сошелся и заслужил у них мнение, довольно выгодное для меня, «еретика-нововера» и еще «табачника».

Но шли дни с жирными обедами и задушевными беседами, а я узнавал очень мало. «Погоди, – отвечали мне. – С летбм все узнаешь». Я сидел в архиве, ездил с раскольниками за город, на общественную мызу Гризенберг, со всеми стал как свой, а по вечерам и ночам таскался в черные дыры раскольничьего пролетариата, где

Заметки Н. Лескова (Сборник). Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru узнавал мало нового к вопросу о школах, но нашел много вещей необыкновенно интересных в беллетристическом отношении. Все шло отлично, но главного – потаенных школ и секретных учебников я все-таки не видел. «Погоди» да «с летбм узнаешь», – отвечали мне на мои расспросы. Зная раскольничьи нравы, я не настаивал и не напрашивался, а в последних числах июля стал говорить об отъезде. Таким образом, исключалась возможность познакомить меня со школами «с летам», а нужно было сделать это немедленно или уже совсем не делать. Я знал, что раскольники уже крепко уверены, что я приехал не для какого-нибудь злого дела, и ничем не рисковал. В крайнем случае я мог оставаться под множеством весьма уважительных предлогов. В это время Ломоносов видимо колебался: вести ли меня в школу или нет? Наконец, взятый мною один раз шутя, врасплох, повел. Получив доступ в секретную школу, я перестал говорить об обратной поездке и, отложив ее, остался в Риге еще на две недели.

Вот что я вынес из моего знакомства с лучшею из потайных раскольничьих школ в Остзейском крае.

Школа находится на Московском предместии на песках, возле так называемого «Старого Андрея», в небольшом домике Аллилуева, № 43. Она помещается в трех очень небольших, но светлых и довольно чистых комнатах, за наем которых платит Ломоносов. В одной, самой большой из этих трех комнат, живет учитель, мещанин Маркиан Емельянов (по уличному прозванию «Мброчка») и его жена; во второй учатся мальчики, а в третьей девочки. В настоящее время в школе учатся двадцать два мальчика и одиннадцать девочек. Мальчиков учит сам Мброчка, а с девочками, якобы под его наблюдением, занимается его жена. За обучение детей, так же, как и за наем школы, платит Григорий Семенович Ломоносов с каким-то участием Беляева. Никаких общественных сборов на эту школу не производится, частию по неудобству разглашать о существовании секретной школы, частию же потому, что г. Ломоносов не нуждается ни в чьем денежном содействии, и, наконец, кажется, всего более потому, чтобы избежать неприятных столкновений с дуроломством, в котором нет недостатка в каждой неотесанной общине и тем паче в общине раскольничьей. Этого захочешь избежать везде, а особенно в Риге, где кипит непримиримая злоба двух раскольничьих партий: демократической, эксплуатируемой Пименовым как бы в назидание людям, почитающим поголовную подачу голосов за последнюю форму европейской цивилизации, и аристократической, во главе которой стоят Ломоносов, Беляев, Тузов, Волков, Великанов и еще человек двадцать, способных понимать, чем отличаются снетки от простой маленькой рыбки. Теперь дело школы идет просто, по-русски, без всяких формальностей. Найдет Ломоносов или Беляев скитающегося сиротку, погладит ребенка по макушечке и отошлет в школу, приговаривая: «Ходи, учись – умник будешь, человек будешь». Приведет мать или сестра ребенка – опять то же самое: никаких разговоров, ни расспросов: «веди его к Мброчке», и всего разговора столько. А там уже Мброчка всех принимает и лишь в счетце, подаваемом Ломоносову раз в четыре месяца, пишет: «По благоволению Григория Семеновича Ломоносова поступило учеников с 1 января 1863 года по 1 мая:

Января 1. Ефим Марков (сын вдовы).

Марта 1. Григорий Филиппов (сын вдовы).

Артемий (неимущий).

Сидор (сын вдовы).

Павел (ни отца, ни матери).

Апреля 6. Авдотья (сирота круглая)», и так далее.

Штата определенного нет, школа принимает всякого, хотящего учиться, и выпускает всякого, нашедшего какое-нибудь другое занятие. Оттого цифра учеников и учениц Марочки постоянно колеблется. Раскольники, за весьма редким исключением, о котором не стоит даже и упоминать, вообще не признают никакой пользы в более или менее основательном образовании и даже редко дают своим детям исчерпывать до дна глубину премудрости, сидящей под пьяным черепом Марочки. Круглые сироты остаются долее, пока или Марочка не скажет, что ученик «отучился», или меценат – Ломоносов не определит его куда-нибудь к купцу или ремесленнику. Вообще в школу отдают не выучиться, а, по здешнему местному выражению, «мало-мало подучиться». Чуть ребенок начал скоро читать и выводить каракули – курс кончен, «к делу» его, ибо учение вовсе не дело, а так, что-то и нужное и ненужное, Бог знает, что оно

такое! В школе Марочка учит читать по церковнославянским букварям прусской печати, псалтырю и часовнику. Жена его учит тому же самому девочек. Кроме того, Марочка, бывший до женитьбы певчим в моленной, учит детей тянуть нараспев «начал» по старой «столповой» методе (cantus planus); а некоторых, имеющих хорошие голоса (как, например, мальчика Филиппа), учит трудному «демественному» пению по крюкам. Таким-то образом приготовляются новые певцы в певческий хор моленной, которому полиция препятствует формироваться и который все-таки не оскудевает. Более Марочка ничему не учит и учить не может, ибо сам ничего не знает. Детей здесь даже не учат чтению гражданской печати, находя это совершенно излишним. Говорят: «Этому они сами научатся, нам бы только подучить, и довольно». Марочка – мужик неглупый и не рьяный фанатик, мне даже удалось его урезонить, что детям полезно было бы читать и объяснять священную историю, и он выразил сильное желание заняться этим, но новых руководств с именем Христа, написанным через два Ѝи, они не могут дать детям, а старые евангелия и, особенно, библии продаются чуть-чуть не на вес золота. Вообще книги раскольничьи, печатаемые за границею, все очень дороги: так, например, десяток азбук в оптовой покупке стоит три рубля, часовник от 4 р. 50 коп. до 6 рублей, псалтыри еще дороже. А во всех этих книгах ровно нет ничего противного духу господствующей церкви, и достать их всегда можно столько, сколько пожелают. Св. Синод совершенно напрасно упускает солидную статью дохода, который ему могла бы дать продажа древлепечатных книг, не содержащих в себе ничего противного христианскому учению. Если ему неудобно дозволить печатанье их в своих книгопечатницах, то можно бы очень выгодно уступить право издания таких книг еретикам, избавив таким образом последнюю страницу издания от дурно ценимой еретиками приписки о почиющем на книге благословении Синода, а приходских священников от соблазна, поддерживаемого слабостью раскольников выкупать у духовенства книги, забранные у них правительством. На Литве уже это теперь очень гласно делается: как-то будто даже и зазорно становится в интересах православия.

В самом преподавании Марочки нет никакой системы. По-моему, жена его гораздо лучше учит, чем он сам. По крайней мере, она не считает обязанностью орать на детей зычным голосом, и ее ученицы читают ничуть не хуже учеников ее сожителя, а смотрят несравненно смелее и смышленнее. В школе этой, как уже сказано, довольно часто меняется комплект учеников, но Марочка не стесняется учить их всех разом: у него учащиеся букварю сидят обок с проходящими псалтырь, а те – с учащими часовник, и как все читают вслух, то выходит такое безобразнейшее попурри, что нельзя надивиться, как раскольничий педагог может в нем что-нибудь уследить и понять. К этому еще надо прибавить, что по дороговизне книг не у каждого ребенка есть своя книга, и они или вдвоем лупят по одной книжке вперегонку или передают друг другу, бессмысленно останавливаясь на конце страницы, хотя бы страница заканчивалась серединою фразы. Напрасно кто-нибудь спросил бы Марочкина ученика: «Разумееши ли, яже чтеши?» Никто ничего не понимает, а болтает как попугай и нудится этою тяжелою наукою, не способною нимало интересовать учащегося. Ученики одеты бедно, во что попало, большая часть босиком, но особенной нечистоты нет. Когда я впервые вошел в школу, там стоял гул – словно молодой рой отроился. Это дети выкрикивали, как евреи в шабаш. Жена Марочки стояла с чулком у окна у девочек, и Марочка, изрядно пьяный, валялся на лежанке в своей комнате и сильно растерялся. Вообще он человек, которому никак нельзя доверить воспитание детей, и все, что я о нем слышал, нимало не говорит в пользу его педагогических способностей; но у раскольников «по нужде» все терпится. Школа Марочки интересна как секрет и как образчик раскольничьих школ, исчезнувших вследствие правительственного преследования. Из встреч со многими воспитанниками этих школ и из самых чистосердечных разговоров с ними я убедился, что их учили только тому, чему учит своих учеников Марочка: все они пишут безграмотно, не знают ни грамматики, ни географии, ни Священной истории; не знают даже оснований своего толка и спорных пунктов с господствующей церковью. Школа Марочки – учреждение вполне ничтожнейшее, но имеет огромное отрицательное значение. Она ясно убеждает в негодности школ, устраиваемых самими раскольниками без руководства людей просвещенных. Видя в ней новое повторение стертых с лица земли старых школ, становится несомненным, что нужно заботиться не о возрождении этих школ, как кажется многим «прельстившимся сониями» и забывшим, что «без лжи совершится закон и премудрость», а учредить школы новые, с новыми людьми за учительскими столами и с новыми книгами стародавнего содержания, но учредить их так, чтобы в целом курсе учения, целесообразном требованиям здравой педагогии, не было ничего оскорбляющего и порицающего отеческие предания староверов. Нужно учредить такие школы, чтобы они были по нраву без различия большему числу староверов различных толков, и особенно наиболее распространенных. Для этого, по моему мнению, в школах вовсе не нужно преподавать никакого катехизиса и церковной истории, а

весь курс религиозного образования ограничить изучением Священной истории по нарочно составленному учебнику. Терпеть Марочкину и другие ей подобные школы, как их благородно терпит нынешний генерал-губернатор Прибалтийского края, пока правительство относится к этому делу так, как оно к нему теперь относится, весьма резонно. Мне известно, что барон Ливен знает о существовании секретных школ, но не считает нужным их преследовать. «Пусть лучше чему-нибудь учатся», – сказал он мне, прощаясь со мною перед отъездом своим из Риги. Подчиненные барона Ливена хорошо понимают его политику, но в школу Марочки дети до сих пор входят по одному, да по два и так же выходят, чтобы не дать полиции подозрения о существовании школы. Не может быть, чтобы падкая на наблюдения за раскольниками полиция до сих пор не пронюхала существование Марочкиной школы, но ясно, что, зная генерал-губернаторский взгляд на это дело, она не смеет приложить руки к Марочкиной профессии.

Это, повторяю, совершенно понятно. Но желание «прельщенных сониями» разрешить такие школы и отдать их в таком-то виде под опеку министерства народного просвещения было бы в высшей степени несовременно. Что касается до меня, то я решительно отвергаю всякую возможность предоставить образовательную инициативу необразованному расколу. Из этого кроме шутовства ничего не выйдет, точно так же, как ничего не выходит из приглашения раскольников в общие школы, за порог которых может свободно переступать нога попа господствующей церкви.

Учреждение таких школ не представляет ни особенных затруднений и никакой опасности. Для них можно частию взять в образец открытое при мне «приходское училище при единоверческой церкви св. Михаила Архангела в Риге», а частию кое-что изменить в программе. Самое название этой школы свидетельствует, что она не общая, а исключительно староверская школа, но между тем она существует с ведома правительства; она не запрещена, следовательно, она дозволена. А если староверы, принявшие архиерейское благословение, не хотят мешать своих детей с православными и учреждают особую школу, то как же добиваться, чтобы староверы, не принимающие архиерейского благословения, пустили своих детей в общие школы? Я здесь не вижу ни последовательности, ни… всего другого, даже осторожности и любви к родине и ее спокойному развитию.

Школа при единоверческой церкви завелась очень просто. Некто г. Гутков, бывший некогда лектором латышского языка при Рижской православной семинарии и имеющий диплом на степень домашнего учителя, давно занимался обучением купеческих детей на Московском предместье. Его знают все, от архиерея Платона, до последнего пильщика с Двинской набережной, и раскольники считают его своим человеком. Когда шло дело о школах, до последнего отказа, – то они, очевидно, прочили его себе в учителя, и он ждал этого. Но, когда дело разрушилось обычным отказом в праве «поучить детей по древним книгам», Гутков сошелся с обществом староверов благословенной церкви и, по праву приходского или домашнего учителя, открыл упомянутое училище. У него еще очень немного учеников, но он прекрасно устроил свою школу в помещении, отведенном ему во дворе единоверческой церкви. Школы Гуткова ни в каком отношении нельзя сравнивать со школою Марочки: это действительно школа, и Гутков действительно приходской учитель. Одно только дурно, что по семинарской привычке он все бьет детей «по пальчикам», но в самом расположении школьной комнаты, рассадке детей, по манере объяснять – словом, во всех приемах виден учитель опытный и способный. Я делал многим из его учеников разные вопросы, и в каждом ответе видел толковость, делающую хорошую рекомендацию способностям учителя. А этого самого Гуткова рижские староверы беспоповщинские охотно бы приняли в то время, когда они ждали ответа на свою последнюю просьбу.

По программе, составленной Гутковым, в училище при староверской благословенной церкви предположено проходить следующие предметы:

1. Закон Божий:

а) Молитвы.

б) Священная история.

2. Русский язык:

а) Практическо-грамматические правила русского языка.

б) Правильное и четкое чтение по-русски.

в) Русское чистописание.

3. Арифметика:

а) Первые четыре правила простых и именованных чисел.

б) Дроби и тройные правила.

4. Немецкий язык:

а) Правильное и четкое чтение по-немецки.

б) Изучение наизусть немецких слов.

в) Словесные и письменные переводы с легких фраз и далее.

г) Немецкое и латинское чистописание.

5. Рисование (моделей, планов и ландшафтов).

6. Церковное пение и славянское чтение.

7. Обозрение географии и всеобщей истории.

Училище будет состоять из двух отделений.

Я имею основание думать, что это училище в своем ограниченном мире принесет очень много пользы, и притом не стоя правительству ни одного гроша.

Несомненно, что такое же училище Гутков устроил бы и для беспоповщинских раскольников, если бы им это было разрешено, и дети из этого училища вышли бы далеко лучшими гражданами, чем из школы безграмотного и вечно пьяного экс-певчего Марочки, а родители их питали бы совсем иные чувства к правительству, которому они если и не делают зла, то и навряд ли желают много добра. Они не станут вредить ему теперь, но, как полагает полковник Андреянов, могут при случае взять и не его сторону, а полковнику Андреянову это ближе знать, чем мне или кому-нибудь другому. Во всех воззрениях на тенденции раскола я, не стесняясь полемическими спорами последнего времени, искренне разделяю мнения П. И. Мельникова, единственного, по моему мнению, беспристрастного современного писателя о расколе, и так же, как он, я решительно не верю в способность раскольников к открытому восстанию. Не верю я этому потому, почему не верю вообще в революционные движения парижских эписьеров. Но приводя себе на память их повсеместный ропот против правительства, припоминая историю, случившуюся в Риге при отбирании метрических книг из моленной, когда все предместье было чуть-чуть не в осадном положении, обращая, наконец, внимание на то, что при самом приглашении раскольников к подписанию сочиненного от их имени верноподданического адреса в их среде поговаривали: «Мы вне закона, нам нельзя подавать адреса», – я готов думать, что раздражать раскольников в угоду духовенству господствующей церкви решительно не следует. Отцы нашей церкви, совершенно разошедшиеся в своих воззрениях с обществом просвещенным и вовсе непросвещенным народом, вряд ли могут проречь все, что может случиться. В государственных же интересах разрешение либерального стремления «поучить своих детей по старопечатным книгам» не может вести за собою ничего, кроме общественного сочувствия, которым сильно правительство раздробившейся на тьмы сект Великобритании.

–

После всего мною сказанного считаю обязанностью изложить мое личное мнение о том, что бы следовало правительству сделать ввиду нынешних неотступных ходатайств раскольников об открытии для них особых общественных школ.

1) Я убежден, что все усилия склонить раскольников к начальному обучению их детей в общих школах с православными будут напрасны. Ни мягкие меры, ни крутые, к которым, кажется, правительство уже не намерено более обращаться, одинаково не принесут никакой пользы. Первые сделают смешное и во всех отношениях невыгодное

фиаско, а вторые только поддержат двухвековое упорство и сделают врагов из людей, готовых нынче забыть правительству все свои обиды.

2) В этой же самой мере я убежден, что единственный способ выйти хорошо из положения, в которое ставит правительство раскольничье домогательство особых школ, – как можно скорее разрешить учреждение таких школ.

3) Особые школы нужны только для первоначального обучения (приходские), а раскольничьих детей, поступающих в уездные училища, гимназии и высшие учебные заведения, следует поставить в такое же независимое положение от православного законоучителя, в каком находятся дети лютеран, католиков, кальвинов и вообще христиан неправославного исповедания, обучающиеся в русских гимназиях, лицеях и университетах. Нужно освободить их от слушания уроков закона Божия и богословских лекций, освободив в то же время и от испытания по этим предметам.

4) В видах справедливости необходимо немедленно разрешить раскольникам сдавать установленные экзамены на звание приходских учителей; а если это опять найдут невозможным, то не лучше ли оставить все, как оно есть, и ничего не делать, ибо из всех половинных действий выйдет только полный неуспех,

и 5) Я признаю не только бесполезными, но положительно вредными всякие полумеры и не предвижу никакого добра, если необходимые по моим соображениям уступки раскольничьим мольбам о школах будут делаться не разом, а в известной постепенности, по частям, одна за другою. Постепенность – вещь в некоторых случаях прекрасная, но у нас ее так боятся и так мало верят в благие продолжения слабо выражающихся во внешности благих начинаний, что реформы, вводимые постепенно, по деталям, встречаются у нас со злобною насмешкою, как фикции, которыми отводят глаза народа. А не должно забывать, что раскольники народ вообще чрезвычайно тонкий и практический и они очень хорошо понимают выгодные стороны положения людей, имеющих право жаловаться на угнетения. Они возьмут частицу уступок, воспользуются ею, но никогда не перестанут плакаться на недостаток удержанной доли просимой свободы. Они будут охотно поддерживать этим в молодом поколении ту ненависть и презрение к церковникам никонианам, о которой говорит автор «Истории Преображенского кладбища». Гонение тоже есть сила. Смешно утверждать, а можно положительно сказать, что раскол, плачась на свою долю, нередко смотрит на все эти странные гонения, как на раны, которыми облегчается внутренний недуг организма. Многие это так именно и понимают и любят свои гонения, как худосочные люди любят свои раны. Раскольники, привыкнув красоваться синими рубцами, настеганными на груди «древлего благочестия», кажется, не будут знать, что делать, когда заживут эти рубцы страдания. Один, самый рассудительный и дальнозоркий из рижских «отцов», слушая как-то разговоры о расширяемой понемножку свободе совести, сказал: «Ох, не зашибла б нас эта свобода больнее гонения. Против гонений-то мы обстоялись, а против свободы-то Бог знает, как стоять будем». Но расширяя права раскольников хоть бы и в одном учебном вопросе, нельзя обходить чего-нибудь, полагая, что «это важно, этого и довольно, а это не так важно и без этого они могут обойтись», – нужно, как говорится, съесть с раскольниками по крайней мере три пуда соли вместе, чтобы понимать, как этот народ, выросший в споре о мелочах, высоко ценит каждую мелочь и придирается ко всему с ядовитым крючкотворством французского судьи. У них и «нужда изменяет закон», и все, стало быть, возможно «нужды ради»; но и «аще праведник согрешит, не помянутся все правды его». Нужно непременно отнять у них всякую возможность жаловаться на неравноправие перед законом и, в особенности, на недоступность образования, тем более, что это в настоящее время как нельзя более легко и удобно.

Относительно устройства просимых раскольниками школ, мне кажется, нужно поступить таким образом:

1) Определить minimum общества, которое имеет право просить об открытии школы.

Мне частным образом известно, что в министерстве внутренних дел есть соображения о том, из какого числа душ должно состоять раскольничье общество, имеющее право на учреждение моленной. Может статься, эти соображения, в известной соразмерности, можно бы применить и к вопросу о школах.

2) Дозволить открыть училища на общем основании приходских школ с подчинением их прямому наблюдению местной дирекции училищ, как это было в Риге до закрытия школы при гребенщиковском заведении.

3) Всякое иное влияние сторонних ведомств на эти школы совершенно устранить, ибо это ни к чему не поведет, кроме жалоб с одной стороны, придирок – с другой и беспрерывных неприятных столкновений чиновников двух различных ведомств, – а дитя у семи нянек будет без глаза.

4) Содержание школ предоставить самим общинам, не требуя на них никакой правительственной субсидии, ибо в общем эта субсидия значительно обременит государственный бюджет, а в частности – для каждой школы принесет очень мало пользы. Средства, отпускаемые правительством на содержание приходских школ, так миниатюрны, что раскольничьи общины никогда не посетуют на лишение их этих субсидий. Пожалуй, по некоторым соображениям, они, чего доброго, будут еще очень рады от них освободиться.

5) Преподавание в приходских раскольничьих школах вверять только людям, имеющим установленные дипломы.

6) Имея в виду, что раскольники ставят как conditio sine qua non,[13] чтобы за общинами было признано право избирать учителя для своей школы и представлять своего избранника на утверждение подлежащей власти, даровать им это право с тем, чтобы община всякий раз представляла кому будет назначено по крайней мере двух кандидатов, из которых один и может быть утвержден, если будет отвечать всем требуемым от учителя условиям.

и 7) Не возбранять раскольникам экзаменоваться теперь на степень учителя и экзаменовать их без малейшего послабления, но и без усиленных строгостей, не требуя от них при этом представления законных метрических свидетельств, которых у них нет, потому что почти все они значатся незаконнорожденными, а их выписки из книг моленных законом не принимаются. Совершенно достаточно ограничиваться требованием письменного вида. Отказ в допущении раскольников к экзаменам на степень приходских учителей или требование от них документов, которых у них нет, будет мерою весьма печальною. Не говоря о том, что отказ в праве избрания и представления учителей непременно парализует все дело, предоставление этого права мне кажется и весьма справедливым. Какое опровержение можно привесть против права родителей избирать наставников своим детям? Едва ли можно найти такое опровержение, а если и можно, то оно будет неестественное, вымышленное, натянутое на старый педагогический подрамок. Дело власти, регулирующей школьную операцию, в настоящем случае прямо ограничивается определением средств представляемого кандидата на занятие должности, к исполнению которой он назначается. Но, не говоря уже о том, что недопущение раскольников к экзаменам будет очевидным устранением их от гражданского равноправия и новым постановлением их «вне закона», правительству нет оснований бояться большого количества учителей раскольников. Их нет в настоящее время, а приготовить их не так-то легко. Это очень хорошо знают сами раскольничьи общины, соглашающиеся принять учителей православного исповедания, и не хуже их знаю это я, сталкиваясь с поражающим невежеством док, слывущих в своих муравейниках за мудрецов, философов и звездочетов. Можно смело утверждать, что на первое время учителя из раскольников на всю массу учителей, нужных для раскольничьих приходских школ, вряд ли составят один процент. Остальные девяносто девять процентов все будут или православные, или даже немцы, которых не прочь принять многие общины. Да и вообще одни только раскольники Остзейского края упорно хотят непременно учителя из своих с самого начала школ; но и они, я уверен, не откажутся взять иноверца, если из ихних не найдется готового человека. Об этом у меня было много говорено, и, после многих и всегда жарких споров, дело оканчивалось тем, что «ну хорошо, ну немца возьмем». И, по-моему, немец или вообще иноверец для раскольников во многих отношениях удобнее православного, особенно в Остзейском крае, где немцы были постоянными защитниками раскольников от притеснений русского православия и где раскольник не возражает немцу, когда последний зачастую говорит: «Вы ведь только по нас и целы, а ваши давно бы вас заели». По возвращении моем из Риги у меня были мои петербургские знакомые: федосеевцы, поморцы и последователи Аристова согласия. Они все согласны принять к себе православного учителя. Я писал об этом в Ригу отцу Евстафию, а тот показал мое письмо Беляеву, и на днях я получил от Беляева уведомление, что и он непременно желает иметь для рижской школы учителя из людей просвещенных. «Знаю я, пишет он, что такие за учителя будут из наших! На школы с нашими учителями и жертвовать не стоит». Отец Евстафий, великий почитатель Беляева, тоже пристал к его мнению, а мнение духовного отца в таком деле – вещь большой важности. Отказывать же в допущении раскольников к экзамену при первом учреждении школ просто невозможно. Это

значило бы предрешать события не в пользу раскольничьего образования и не в пользу собственную, ибо если раскольникам открыть двери в средние и высшие учебные заведения, то, само собою разумеется, из них многие получат ученые степени, а с ними и права на педагогическую службу. Как же тогда? Не давать мест – это значит не мириться с невежественным расколом, а ссориться с расколом образованным. Многие, и особенно либеральные чиновники, любят утверждать, что «образование есть вернейшее средство к искоренению раскола». Не хочу с этим спорить, тем более, что не понимаю смысла всех хлопот, подьемлемых кем бы то ни было во имя искоренения какого бы то ни было не вредящего общественному спокойствию верования. Но полагаю, что выражаемая надежда искоренить раскол одним образованием верна вполовину или, по крайней мере, решение ее весьма условно. Образование несомненно уничтожит раскол, если рядом с открытием раскольникам всех средств к образованию правительство не оставит и следа каких бы то ни было ограничений сектаторов в гражданском равноправии со всеми. Но если этого не будет, то лучшие молодые люди из раскольников не бросят раскола потому, что лучшие люди никогда не бросают своих собратий, пока этим собратиям хуже других. Это старая история, которая, однако, будет нова до конца человеческого рода. Уже теперь есть такие раскольники, а с образованием их будет еще более. Следовательно, как же тогда станет вопрос? Переметчиков, изменяющих вере и обществу по расчету, что это выгоднее, правительство станет принимать, а людей твердых, предпочитающих делить скудные права своих собратий, оно лишит и прав, приобретенных ими по образованию?.. Не хочется верить, чтобы это было так, а иначе быть не может, если теперь предрешить вопрос об учителях раскольничьих положительным отказом. Если же этот отказ выразить в виде временной меры, то результат прямой: никто из раскольников не станет приготовляться к педагогической деятельности, мера эта не приобретет правительству раскольничьих симпатий, и опять будет широкое раздолье жалобам, не лишенным большой доли основательности.

Насчет чисто педагогического устройства школ я думаю так:

1) Школы устроить двухклассные с третьим, приготовительным, отделением.

2) В приготовительном отделении обучать детей чтению и письму по такому методу, какой признает удобнейшим учитель. Всего лучше бы, разумеется, было держаться прекрасного метода г. Золотова, но этого невозможно назначать обязательным. Может быть, со временем учителя и найдут средства перейти к золотовскому обучению, но теперь нужно ввести буквари, напечатанные точь-в-точь с секретного букваря прусской печати. Как ни пошл и тяжел этот глупый букварь, нужно покориться смешной необходимости и дать его, ибо раскольники видят в нем прелесть неизреченную и кроме его или другого секретного букваря польской печати (который все-таки в меньшем почете), по другим букварям учить детей не согласятся. Там все эти «оксии», «исо», «оварии» имеют для них свою сласть несказанную, и никто не решится лишить свое чадцо блаженства, сокрытого в этой гадости. Имея в виду, что раскольники обыкновенно учат детей лет с семи до четырнадцатилетнего возраста, а весь курс их специальных школ будет очень невелик, можно им доставить удовольствие держаться своих просодий и учить год тому, чем по лучшему методу легко можно бы выучить в месяц, иначе, я говорю, ничего не поделаешь.

3) В 1-м классе учить: Священной истории (Ветхий Завет), грамматике, краткой всеобщей истории (древней и средней), краткой математической географии, арифметике до дробей, чистописанию и черчению. Последнее особенно важно, ибо раскольники вообще желают видеть своих детей приготовленными к поступлению в науку к строителям, фабрикантам, заводчикам, каменщикам и т. п., где черчение очень нужно.

4) Во втором классе: Священная история (Новый Завет), грамматика (окончание), история (до наших времен), краткая физическая география, арифметика (дроби, хоть до смешаных дробей), чистописание и копирование планов и моделей.

5) Из второго класса выпускать по экзамену со свидетельствами, похвальными листами, похвальными книгами и прочими школьными наградами.

6) Обучение Священной истории, по избранному руководству, не возлагать ни на какое духовное лицо, а пусть ему учит тот же учитель. Мудрость очень небольшая и в новую ересь никто не впадет от чтения библейских и евангельских историй. По крайней мере в школе этого не случится, а за школой может быть все, и от этого

не упасешься.

7) У раскольников есть в обычае учить мальчиков вместе с девочками, и им очень хочется удержать это обыкновение и в ожидаемых ими новых школах. Я лично не вижу причин отвергать совместного обучения детей без полового различия и, следя за горячею полемикою педагогов по этому вопросу, всегда склонялся на сторону поборников совместного учения; но думаю, что это единственный пункт, в котором раскольникам можно и отказать, если нельзя устранить соображений, по которым у нас не допускаются классы, общие для мальчиков и девочек. А лучше бы, кажется, и это дозволить, наблюдая только, чтобы дети были удобно размещаемы в классных комнатах.

8) При приеме детей в школу не требовать от их родителей или родственников никаких метрических свидетельств, ибо в общине всегда происхождение ребенка более или менее известно и в метрике никакой нужды нет. А между тем метрические свидетельства могут быть большим препятствием к соединению в школах детей, принадлежащих к разным согласиям раскола. Раскольники часто скрывают свои верования, а все они охотно отдадут детей своих в одну школу, ибо старые книги у всех у них одни и те же, не исключая даже катехизиса. Но как в катехизисе уже есть несколько вопросов, возбуждающих спорные толкования, и к тому же «нововеру» или немцу нельзя изъяснять «артикулов веры», составленных и напечатанных при царе Алексее Михайловиче и патриархе Иосифе, то я и нахожу необходимым вовсе исключить катехизис из программы школ. Пусть дети в школе сходятся, а не расходятся. Катехизису же они могут учиться дома или в праздники у духовных отцов, каждый по-своему.

9) В отношении отчетности чисто педагогической, учителей нужно подчинить на общих основаниях местной губернской дирекции училищ; а в экономической – общине, удерживая, однако, за дирекциею право наблюдать, чтобы школа содержалась в помещении здоровом, чистом и светлом, а у учителя были под руками все нужные по программе учебные пособия.

Учебные пособия, т. е. книги, составляют весьма важный и щекотливый предмет.

Раскольники как круглые невежды во всем, касающемся образования, имеют об этом предмете самые чудовищные понятия. Уши вянут, слушая, чего им хочется. Букварь чтоб был старый, с прусского, и чтобы на нем не было напечатано ни «по благословению Синода», ни «печатано при типографии единоверческой церкви»; часовник и псалтырь чтобы были признаны главными предметами преподавания в школах, а Священной истории вовсе не нужно, но так, «для баловства», можно «поучить» и ей, только «по старой книге», тогда как никакой такой старой книги не существует. Грамматику ввести изданную при царе Алексее Михайловиче, и при нем же изданный катехизис («Собрание краткия науки о артикулах веры», издана при патриархе Иосифе в Москве в лета 7157). Наконец, им даже хочется какую-то допотопную арифметику, соединяющую в себе все неудобства к обучению. Раскольники, за небольшим исключением, склонны верить, что весь мир только и заботится подкопаться под старую веру и повредить юные лозы в винограднике древляго благочестия, а невероятное невежество, при котором они не могут определить предмета ни одной науки, заставляет их страшиться всех новых книг и подбивает домогаться во всем одного старого. Нелепость соображений, высказываемых ими при этих требованиях, неописуема, и удовлетворять этих требований не следует ни под каким видом, ибо нельзя вводить просвещение орудиями, способствующими затемнению всякого света. Но хорошо изведанный характер раскольников не позволяет и резко противудействовать их симпатиям к своим безобразным древностям. При первом таком покушении их крючкотворные начетчики, в существе гораздо большие невежды, чем сама безграмотная масса, сейчас истолкуют, что «нововеры» боятся старых книг, ибо в этих книгах сокрыт кладезь премудрости, способный обличить суемудрие нововеров. А стоит разойтись такой болтовне, и дело пропало. Тут нужно действовать терпеливо, осторожно и рассчитанно.

Для школ нужно напечатать славянским шрифтом:

1. Букварь точь-в-точь с прусского букваря, не печатая на последней странице неизбежного благословения святейшего Синода, ни напоминания о единоверческой церкви.

2. Священную историю – шрифтом, подобным рукописному уставу с цветными буквами в

зачалах. Историю напечатать с синодального издания с выпуском двух незначительных мест на стр. 64 и 73 или же с заграничного издания, вышедшего в Карлсруэ. Имя Христа везде должно печатать Ісус, а не Іисус, и Давида – Давыд, и если предположено будет перепечатывать историю, изданную в Карлсруэ, то изображение Христа нужно выпустить, ибо рисунок этот не отвечает требованиям раскола.

3. Грамматику, географию и арифметику пусть дают детям, какие признает удобными учитель, но рекомендовать можно бы грамматику Иванова (принятую в училище правоведения), арифметику – изданную Департаментом народного просвещения, а географию – вообще употребляемую в приходских училищах и обязать преподавателей учить детей, применяясь к этим учебникам. Если учителя будут знать, что учеников их станут экзаменовать, придерживаясь известных учебников, то они сами почувствуют необходимость не удаляться от этих учебников. Но никак не должно стеснять учителя на каждом шагу, ибо иначе положение его будет невыносимо. Раскол свиреп и мстителен. Рассказывают, что старичок Желтов был человек очень толерантный и учил детей, пробуя, как лучше. За это, когда правительство закрыло раскольничьи школы и дряхлому учителю, приобретшему известность добрейшего и бескорыстнейшего человека, стало нечего есть, община не хотела его даже пустить в богадельню как еретика и соблазнителя. По-моему, не в том дело, чтобы сразу явились прекрасные приходские школы, а в том, чтобы были школы сносные, чтобы было положено начало, которому рядом благоразумных мер можно давать надлежащее развитие и вести его к совершенной зрелости. Часовник и псалтырь не вносить в программу, но дозволить обучать по ним чтению. До катехизиса и церковной истории не касаться. Предложить специалистам: не найдет ли кто-нибудь возможности составить грамматическое руководство во вкусе «Грамматики родного языка» г. Половцова, которая так нравится раскольникам за свой шрифт, но не может быть принята ими за один пример («патриарх Никон в унижении!»).

Если сделать так, как я думаю, то тысячи раскольников откажутся от школ, найдут их еретическими и вредными, но тьмы тем бросятся в них и через два, а много три года увлекут за собою отсталые тысячи, и дело просвещения людей, на каждом шагу тормозимых своим невежеством, несомненно пойдет.

Это все, что я могу сказать, стараясь по мере сил моих служить уяснению положения учебного вопроса в одной из многочисленнейших, сильнейших, самостоятельнейших и, смею думать, образованнейших раскольничьих общин в пределах Русского государства.

23 сентября 1863 г. С.-Петербург.

Примечания

1

В рукописи против приведенного рассказа другою рукою и позднейшими чернилами сделана на поле следующая приписка: «Хоча ж папера и атрамент все терплять и на світ выносять, одначе в сей чудасии, сдаетьця, ни бы-то щось таке соплетено то що, мало бути, але и в правде було, з тім, що николы нигде буты не могло, да и не буде, ни при здешнем грішном, ни у том будущем святом віце, его же от господа не достойнии раби собі чаемо».

Под этими строками подпись: «Просфорнык Геронтый» (прим. Лескова).

2

Маловероятный случай этот представляется совершенно возможным. По крайней мере на эту мысль наводит 42-й параграф «Инструкции благочинному» изд. 1857 г., где говорится об «осторожности в показывании супругами таких лиц, кои не здесь венчаны», и в доказательство супружества своего никаких доказательств не представляют. Очевидно, что предостережение это было чем-нибудь вызвано (Прим. Лескова).

3

Недописано (прим. Лескова).

4

Глас вопиющего в пустыне (лат.).

5
Пугало (франц.).

6
По желанию (Лат.)

7
Записка эта составлена г. Лесковым, который в 1863 г. был послан министром народного просвещения в Ригу для собрания сведений о школах тамошних раскольников. Вот что писал министру народного просвещения тамошний генерал-губернатор барон Ливен 19 августа 1863 г. за № 3241: «В ответ на письмо вашего превосходительства от 10 прошлого июля за № 172 имею честь сообщить Вам, милостивый государь, что я предоставил литератору Н. С. Лескову для теоретического изучения раскольнических школ все касающиеся этого предмета дела моей канцелярии, где он занимался постоянно; а для того, чтобы видеть и ознакомиться с действительной жизнью здешних раскольников, с внутренним их бытом, г. Лесков поселился между ними и жил у одного из них. Предоставляя Вам самим судить о результате занятий г. Лескова в Риге, я скажу лишь, что вполне разделяю высказанное им в разговоре со мною и попечителем рижской раскольнической богадельни жандармским штаб-офицером Андреяновым мнение о необходимости элементарных школ для раскольников, и притом школ, не смешанных с православными. Необходимость в школах для раскольников я признаю не только в видах личного образования их, цели самой по себе благодетельной, но и в том убеждении, что школы представляют одно из действительных средств для столь желаемого слияния раскола с православием».

8
Правила эти никогда не были напечатаны, и я полагаю, что экземпляр, подписанный маркизом Паулуччи и хранящийся в Прибалтийском генерал-губернаторском архиве, едва ли не единственный экземпляр. Замечательно, что не только остзейские чиновники, но даже сами раскольники совершенно не знакомы с этими правилами, допускавшими не только коллегиальное правление, но и печатание отчета. Последний раз выборные люди рижской общины напечатали свой отчет в 1829 году. У меня есть один экземпляр этого издания, составляющего нынче большую редкость даже в самой Риге, и из этого отчета я убедился, что «Совет Рижского старообрядческого общества, учрежденный на основании статей 1813 года августа 13 дня», управлял общественными делами по-иному, как стали управлять ими попечители. Например, те все печатали, а эти считают несовместным со своим достоинством допустить даже обревизование денежных книг выборными людьми, несмотря на то, что два случая затраты общественных денег не в общественную выгоду и ходящие по городу толки давно говорят о настоятельной необходимости произвесть хорошую ревизию по всему управлению общественным имуществом и богадельней.

9
Лучшим доказательством ничтожества таких обещаний служат попытки присоединенных просить правительство о возвращении снова в раскол. Н. Л-в.

10
В последнее время, мне кажется, на практике это отменено, и я слышал, что в Вилькомире (Ковенской губ.) раскольниками замещены должности ратманов, бургомистра и добросовестных. Мне рассказывали об этом раскольники из Риги и Динабурга, но за достоверность этого я, разумеется, ручаться не могу. Н. Л-в.

11
Популярность губернатора Этингена очень велика не только у рижских, но и у всех остзейских раскольников. Она особенно возросла с тех пор, как г. Этинген отстаивал право общины обревизовать финансовую деятельность нынешнего попечителя Петра Андреевича Пименова. Обший голос уверяет, что разрешение, данное Этингеном на обревизование книг депутациею, составленною из четырех членов общины, отменено распоряжением барона Ливена по ходатайству попечителя, назначаемого правительством, кажется, только потому, что ходатайство это шло не через

попечителя и, таким образом, задернуло его щекотливое самолюбие. Но в среде добивающихся ревизии ходатайство этого попечителя об отмене разрешения, данного Этингеном, объясняется такими побуждениями, что попечитель от правительства, человек, кажется, весьма чистый от бросаемых на него подозрений, теперь сам бы должен просить немедленного разрешения ревизии книг и всего хозяйственного управления общественным имуществом. Не говоря о том, что это требование совершенно справедливо и законно, исполнить его необходимо даже в видах ограждения репутации правительственного попечителя от неблаговидных и, вероятно, совершенно неосновательных нареканий. Если этот чиновник не имел никаких других побуждений противодействовать разрешенной г. Этингеном ревизии, то он сделал огромную ошибку, дав волю своему щекотливому самолюбию. В его положении это непростительно, и ему это вряд ли скоро простят, если он не найдет средств все хорошенько поправить.

12
Когда составлялась эта записка, из Риги пришло известие, что жандармский полковник Андреянов учредил рижским раскольникам книгу на записку пожертвований в пользу ожидаемой школы и что подписка идет чрезвычайно успешно. Ломоносов записал 5 тысяч, Беляев тысячу, эконом общины Тузов тысячу, Ап. Попов оба по сту рублей в год. Но деньги всякий еще хранит у себя, боясь, чтобы с ними не сделали чего другого.

13 Необходимое условие (Лат.)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://leskovnikolai.ru/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография
http://dostoevskiyfyodor.ru/
сайт http://petimer.com/ Приятного чтения!